

Б И Б Л И О Т Е К А

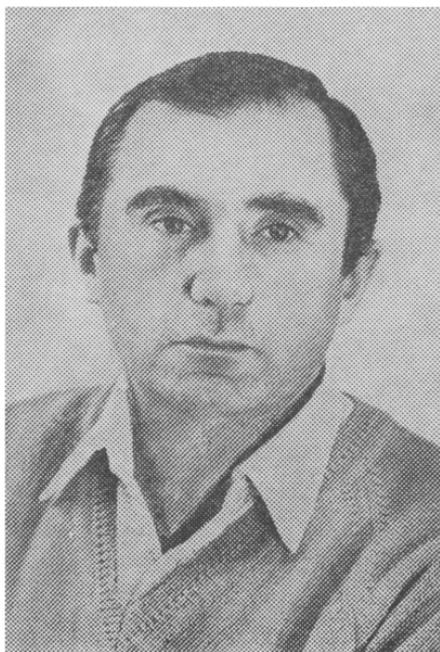
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 36

1987



Николай МАШОВЕЦ

**СНЕЖНЫЙ КОМ
СЧАСТЬЯ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 36

Николай МАШОВЕЦ

СНЕЖНЫЙ КОМ СЧАСТЬЯ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Николай МАШОВЕЦ

Николай Петрович Машовец родился в 1947 году в городе Слободском Кировской области. Окончил филологический факультет Саратовского университета. В его трудовой биографии — работа на заводе, преподавание в университете, комсомольская работа, издательская деятельность. С 1968 г. Н. Машовец начал выступать как литературный критик, был участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей, им выпущено три книги критических статей: «Русло реки народной» (1978), «Общность цели» (1979), «Осмысление» (1981), в которых автор анализирует современный литературный процесс. Н. Машовец выступает и как драматург. Рассказы Н. Машовца публиковались в еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Огонек», «Наш современник».

УСПЕТЬ!

Чуть только съехали на грунтовку, и вот уже лихо стало подкидывать на ухабах, так что порой, забывшись в разговоре, Вадим доставал головой тугой тент «уазика».

— Бойся! — покрикивал не упускавший момента встрянуть в разговор шофер, только-только вернувшийся с действительной разбитной парнишка. Кажется, Геной звали.

— Думал, больше накидают: собачился я последний годик дай-то бог! Сам Пыжиков, Алексей Иванович, первый наш, мне тут недавно мозги вправлял. За жесткость руководства, говорит. — Сергей, еще не остывший от суеты и волнений конференции, вдвойне непростой, что прибыл «товарищ из центра», сообщал теперь все это не без гордости.

«В масть играет», — решила Лариса, сопровождавшая Вадима в поездке по району. И тут же отметилась:

— Все-таки выражения тебе стоит построже выбирать. Бывает, и зарываешься.

— Так когда свои все!

— Зарываешься-зарываешься! Информацию имеем, — Лариса с улыбкой полуобернулась к Вадиму: — Было дело, и обком вмешивался, поправляли товарища Портнова. На моем, правда, уровне, но тем не менее!

— Без крепкого слова нельзя, — подхватил тему шофер. — На учебке у нас комзвода был лейтенантик, очечки все мизинцем к переносью подтыкал: они у него чего-то не держались как следует. Так он, бедняга, мыкался с нами, мыкался, пока не влил ему комбат. Ух, тогда он нас и понес! Где и таилось-то! Зато сразу внятно: человек употребил спецвыражение, значит, действительно ему что-то нужно... А вы, Лариса Петровна, все это без умысла, слышь-те, как восклицания: «Ах! Ох! Их-хонюшки!»

Сергей было засмеялся, но спохватился, хлопнул шофера по плечу:

— Не хохми. Дорога смех не любит. Опять же — женщину везешь, ей не всякий разговор на душу. Понимай!

Какое-то время молчали.

Ехали гребнем невысокого увала. Колёи тонули в суховатой глине, прихваченной ночным холодком. Кое-где, на влажных местах, машина подбуксовывала, но, быстро нащупав твердь, вновь набирала скорость.

Влево сбежал росой посеребрённый бережок. Из утреннего тумана вытаивала извилистая речонка. Сергей молча трогал Вадима локтем, кивал на эту нежность.

Поддакивая, Вадим, однако, не переставал жалеть, что не отговорился от этой, в общем-то уже необязательной, «голубой», как в таких случаях говорили, поездки.

Два раза звонил домой, но разговор не клеился. Ира дулась, первой прощалась — будто бы Димка плачет, не даёт говорить. Может, и так. Вадим старался думать, что так и есть: парнишка действительно похныкивал на погоду. Ира торопила с яслями, злилась на его отговоры, о втором и слышать не хотела: рвалась трудиться.

— По тормозам! — в очередной раз скомандовал Сергей.

Вадим вышел из машины и тут только почувствовал, что его укачало. Дорога дорогой, но и вчерашнее сидение можно было бы подскократь...

— Волнует? — спросил Сергей, широким жестом приглашая глянуть на осеннюю благодать. — Вон мысок река огибаёт, видите? Барским берегом называется. И впрямь барышень под белыми зонтиками не хватает.

— Чего-чего? — протянула Лариса. — И это первый секретарь райкома! Хорош вожак, нечего сказать! Ладно бы, комсомолки в красных косынках мерещились, а то — барышни! Да под белыми зонтиками!

— Рыба есть? — спросил Вадим, чтобы увести от подначек Ларисы.

— А то! Не на магазинную же едем. Сюда из Москвы кое-кто прикатывает. Понимают люди! А вот сегодня поблесним — спытаем счастье, — Сергей, предвкушая рыбацкую сласть, потер руки. — Может, и повезет, хотя, сами знаете, рыбалка да охота — действие тонкое, мужское...

— Не под меня клинья бьёшь? — уколола Лариса. — У вас, мужиков, лишь бы на кого кивать. Без ухи останемся, скажешь — женщина виновата.

— Неправда ваша. Женщина женщине рознь. Смотрите, как конференцию лихо провернули. А чья рука на пульсе была? — Сергей подмигнул Вадиму. — Ваша, Лариса Петровна, нежная и удачливая рука нас отчески...

— Матерински, — вздохнув, перебила Лариса.

— Ну, допустим. Но направляла же! Возможно ли, чтобы в какой-то рыбалке вы путали дело?

— Не стыдно язвить? Вадим Николаевич доложит, что у обкома нет авторитета. Никакой справкой обратное не докажешь.

Шофер весело удивлялся, разглядывая четкие следы на волглой земле:

— Кто-то заранее нас к природе потопал. И гляньте — бб-сым! — Когда тронулись вновь, добавил: — Хм, кому нейдется?.. Иог, должно быть. Или снежный человек.

— Может, странник? — задумчиво сказала Лариса.

— Турист какой-нибудь. От них тут летом все стоном стонет, — ответил Сергей.

— Пожары? — спросил Вадим.

— И это. Хлеб метут, сахар. Жористый народец, эти дачники. Здесь и так со снабжением... Осень — зиму перебьются — много ли деревенским старикам-старушкам надо? А чуть снег сошел — тут уж берегись! Пришлые наскребаются и сразу — письма. Жалуются. Один ко мне приехал. Ветеран, говорит, и все такое. В городе за ним шефство, в магазины ходят, продукты носят, давай, мол, и тут. Я с ним полтора часа отбеседовал. Про сенокос, что мост никак не выстроим, что хлеб, боимся, поляжет. Надулся. Ваши проблемы, говорит. Энтузиазма, говорит, вам, сельским, надо бы подзанять. А что энтузиазма? Вот с тем же шефством взять. В райцентре, на больших усадьбах — без вопросов. А тут? — Сергей ткнул в брезентовый бок «газика». — Школьников, какие остались, в интернат свезли, им до ближайшего ветерана километров пятнадцать пехом — когда-то машину выклянчат.

— Терпеть не могу эти объективные трудности, — Лариса поморщилась. — Хватит каяться, будто и добро о вас сказать не за что. Не можешь ты, Сергей Никанорыч, райком свой как следует подать, а ведь есть, чем справку в ЦК насытить. Хотя бы лыжная летопись. Обком подержал, вынес на обобщение, партийная печать отметила, пора и на союз выходить!

В командировку Вадим вместо заболевшего товарища выехал торопливо, по сути, толком-то не готовился: взял, что было в территориальном секторе, и только в поезде занялся чтением отчетов и сводок. Область как область, показатели среднестабильные, за что чаще всего клевали, так это за лен. В прошлом году согласились принять сводный студенческий отряд из южных краев. Но нынче все-таки упростили поверить, что изыщут местные резервы и одолеют своими силами. Лишь бы сухость продержалась еще с неделю, глядишь, выйдут на рубежи, близкие к передовым.

Проблем, однако, и без льна хватало. Взять рост. Конечно, Вадим и без командировки мог написать в отчете про это злополучное снижение: кому не известно, кто на БАМе вкальвает, в Тюмени нефть качает, на ЗИЛе, приехав по лимиту, смену стоит? Сейчас, правда, в областные ПТУ привезли новый набор из Туркмении, так что есть надежда, статистика поправится. Но все равно простимулировать товарищей надо было.

Спешка спешкой, но Вадим не изменил своему правилу: успел полистать и даже почитать кое-какие материалы из полугодовой подшивки местной молодежки. Грамотно, с живинкой давали внутрисоюзную

жизнь, изучали «трудного» подростка, обреченно уютжили сферу обслуживания, откуда-то добыли отличное интервью с Терентием Мальцевым — «Душа земли» называлось. Четвертую полосу чуть ли не через номер пожирал «Наш дискотек». Ни про какие лыжные летописи не попадалось.

Лариса только и ждала вопросительного взгляда Вадима.

— Это они здорово придумали. Москва поддержит — уверена. Мы все говорим-говорим, а они взяли да сделали. И без трезвона. На весенние школьные каникулы — снег еще крепкий был — организовали из старшеклассников лыжные отряды и — марш-бросок по всем деревням и закоулкам района к ветеранам. Проведали их, нужды, какие есть, выспросили, у всех воспоминания записали. Это главное. Мешок тетрадей? Чего, кстати, Сергей Никанорыч, с ними делать будете, продумал?

— Обрабатываем.

— Сам тоже ходил, — спросил Вадим Сергея, — или только общее руководство за собой оставил?

Лариса не дала Сергею ответить:

— Как же, упустил он повод из райкома улепетнуть. Целую неделю в командировке числился. Да ладно бы один, а то чуть не весь райком на лыжи выставил.

— Здорово было. Мне ребята рассказывали, — мечтательно произнес шофер. — А у нас в то время — под тридцать градусов жары и два месяца до дембеля!

— Горячо было? — Вадим понял, где тот был.

— Там-то?.. По-всякому...

Сергей похвастал:

— «За боевые заслуги» привез парень. Знай наших!

— Ты смотри! — воскликнула Лариса. — За так ведь не дадут, правильно? Значит, за подвиг, да?

Они ехали по российской земле, по разбитой, но все ж таки терпимой дороге, осыпаемой яркой листвой. Когда останавливались и выходили из машины (девочки — налево, мальчики — направо), в высоком и тихом небе светлый крестик тянул за собой белую рыхлую линию, долго не тающую. Однажды они видели, как снялась из-под речного откоса мелкая утиная стая. Вглядываясь в придорожные кусты, Вадим часто терялся — то ли гриб промелькнул, то ли обманулся листом. Что-то выискивали за окном и Сергей, и Лариса. Уверенный, что колея властна над машиной, шофер валяжно откинулся, едва-едва придерживал баранку и тоже подолгу следил за пестрой лентой обочины. Наверно, присматривал грибы, которых, уверяли, этой осенью хоть косой коси. Ему, наверно, нет-нет, да и приснится та жаркая земля... Какой там «наверно», она снится ему наверняка и забудется ли когда-нибудь? Вадим удивлялся ухоженной прическе шофера, его балагурству, легкости характера, не тронутого усталостью... А, собственно, что могло быть особого в этом парне?

— Нет, на туриста он не похож, пижонистый больно,— без предисловия заговорил шофер, так что никто вначале не догадался посмотреть вперед, где метрах в пятидесяти, отступив к ельничку, стоял молодой бородач, босой, с подвернутыми до колен штанинами и «голосовал». В руке у него был черный аккуратный чемоданчик, в народе называемый «дипломатом», к нему же он прижимал черную шляпу с модным широким полем. Рядом кособочились хромовые сапоги.

— Вообще-то у нас служебная. Можем не брать. Как?— спросил шофер.

— Глупости. Надо подвести человека. Тормози!— приказал Сергей.

— А между прочим,— когда остановились напротив бородача, негромко заговорил шофер,— это ведь поп. В натуре, наш новопекарский поп.

Тот, видно, узнав машину, чувствовал, что могут быть загвоздки с решением по его дорожной судьбе и потому не подходил к машине, ждал.

— Правда? Ой, как интересно!— запела Лариса.— Возьмем. Обязательно надо взять, вдруг мы его переубедим, и он порвет с религией. Представляете, шуму будет!

Сергей высунулся в приоткрытую дверцу, крикнул:

— Куда?

— В Михнево!

Сергей махнул рукой, приглашая.

— Добрый вам день. Благодарствую, что позволили потеснить вашу компанию ради случайного путника,— щеголеватый темно-синий костюм, голубая, без галстука, рубашка, густо-смоляная борода с резкой проседью в подбородке, длинные каштановые волосы, гладко зачесанные назад, обращали внимание, и он знал это.— В условиях цивилизации трудно дать себе волю. Решил снять статическое электричество. Слышал, что в природе психологического стресса повинны заряды, не имеющие из человека выхода,—он с заметной лукавинкой спросил:— Научно?

— Вы верите в рекомендации ученых?— задорно подхватила Лариса.

— Если они научны, почему же не верить?— не тушевался он.

Выразительно показав на свои ноги, поп попросил пару минут и быстро спустился к реке.

— Зовут-то его как?— спросил Вадим.

— Петром. Отец Петр, бабки кличут,— ответил шофер.

— А что вы хотите?— Лариса верно оценила удивление Вадима.— У нас в области двенадцать действующих церквей. В половине из них— такие вот молодцы. Суеются, формы новые ищут. Этим летом, например,— Сергей вон Никанорыч знает— один взял да на тракторе всю уборочную откатал. Вот и чеши затылок, пропагандист-агитатор!

Отец Петр нестепенно подбежал, придерживая надетую шляпу.

— Ну что, с богом? — игриво сказал шофер и тронул было, но резко — заглохло.

— Бог-то бог, да сам не будь плох, — к месту напомнил Сергей. Все посмеялись.

— Бывает, — тихо, как бы про себя, сказал отец Петр. — Спешите? — спросил уже громче.

Замялись, не зная, кому и что отвечать. На правах хозяина Сергей объяснил, что с деловыми целями движутся к «Заветам Ильича». По времени — в норме, так что особой спешки нет.

— Вы, будто, из района? Иерей? — в свою очередь, задал вопрос Сергей.

— Новопекарский — мой приход, — просто ответил отец Петр.

Вадим представил его собеседникам:

— Секретарь райкома комсомола Портнов, Сергей.

— Обоюдню не знакомы, — отец Петр подал Сергею руку. — Хотя так-то я молодежного секретаря знаю, не раз в президиумах видывал. Речей же его не доводилось слышать, лукавить не буду.

— А что, если б слышали, то и суждение имели о нем? — подтрунила Лариса.

— Обязательно. Отчего не иметь?

— Какое суждение? Че тут скажешь? Цитатой больше, цитатой меньше, — посмеялся Сергей.

— Для кого-то цитата — звук, но человек здесь зрим — и богу, и людям. За словом дело кроется, — сказал отец Петр.

— Во, дошли! — буркнул шофер.

— Наверно, все-таки не за каждым словом дело? — кокетливо заметила Лариса. — Мы, например, самокритично сознаемся, что много еще у нас пустого говорения. С этим боремся. А как у вас?

— Насчет действенности, что ли? — молодо улыбнулся отец Петр. — У нас тоже, знаете ли, не все так, как хотелось бы. Душа людская измаялась в коросте. Слово божье не доступно ей. И пока-то эту коросту чуть отколупнешь, чтобы свет пошел!.. Человека строим. Легко ли?

— Стройка века! — отчеканила Лариса.

— Человек-то? — отец Петр усмехнулся, но ничего не сказал.

Вадим вспомнил, как впервые услышал это броское сравнение. Прошло тогда оно ярко, под овацию, частенько потом цитировалось, пока наконец пенным бурунчиком не затерялось в мелкой волне.

— Не согласны? — задиралась Лариса.

— Вас звать-величать как надобно? — отец Петр вежливо привстал.

— Лара.

— А по отчеству?..

Лариса опять стрельнула из-под узко выщипленных бровок:

— Отца моего Петром звали.

Сергей решил представить дальше:

— Вадим Николаевич. Из Москвы товарищ. Рулевой наш — Гена. Атеист. Ни в бога, ни в черта веры нет. Так?

— Да уж... в безверии прозябаю.

— Рад знакомству, — отец Петр еще раз привстал. — Я в миру — Петр Владимирович.

— В Михнево-то с ночевой? — спросил Сергей. — К ночи обратно думаем, так что, если чего, заберем.

— Благодарствую. Полагал лишь утром обратно тронуться.

— А то смотрите.

— К людям иду, нельзя разговор комкать. Да и не отпустят, чтоб не посумерничать.

— Н-да, Сергей Никанорович, не зря вас за ослабление атеистической работы на областной активе критикнули, не зря... — Лариса выразительно покачала головой.

— Чего «не зря»? Поставили через запятую среди тех, где ослаблено. Так что за этим? В Мирном районе баптисты секту открыли, а у меня, господи, два крещения в марте было! Только что они на пять рождений пришли. Вот и подверстали.

— Правильно! А процент-то, процент какой? — в открытую подсмеивалась Лариса. — И процент тебе этот, сам видишь, не кто иной, как Петр Владимирович портит. Сейчас он в Михнево придет, народ скличет и развернет свою религиозную кампанию. А ты мимо промчишь.

Петр Владимирович сказал примиряюще:

— Мчите, коль дело есть. Некого в Михневе за церковь агитировать. Один там верующий уж третий год как остался — Михнев Пров Федорович. Годков ему под восемьдесят. Письмо вот мне послал, чтоб гостевать приехал. Пишет, помирать пора. Меня и засовестило, проведу, думаю, думая, старика.

— Он что ж, один совсем? — спросил Вадим.

— Вдовый. Сколько-то еще старушек в деревне живет...

— Четыре, — уточнил Сергей. — Да на переправе — Демьян, паромщик. Будто и все...

— Скучновато, конечно. Пров-то Федорович пишет, чтоб не гневился я, если ненароком приду, когда он в телевизоре программу глядеть будет, — отец Петр обратился к Сергею: — А вы не с тех ли мест родом, что про них знаете?

— По долгу службы, — ответил Сергей. — Был как-то у Прова Федоровича, зимой еще, воспоминания его ветеранские записывали.

— Вот как. Это вы, стало быть, у него побывали. В письме он помнил, что приезжали к нему лыжники, слушали его жизненный путь, — отец Петр еще раз удивился: — Надо же! Занятное совпадение.

— Земля-то одна, — философски заметил Гена.

— Старушки михневские, все четыре, что ж, без веры живут? — Лариса с прищуром глянула на Петра Владимировича.

— В церкви, думаете, все верующие, кто крестное знамение кладет? И мы, служители, себя этим не тешим. Однако же как нельзя молящегося изгнать из храма, так никого не изболочишь во лжи, если слово божье у него на устах. Грешен человек. И церковь его за грехи судит. Но на веру его не посягает. Здесь ему судья — бог... И он сам.

— Старушки-то как все-таки? — подсказала Лариса.

— Редко, но в церковь ходят. На пасху.

— А вы в бога верите? Сами-то? — пошла в атаку Лариса. — Ну, как на духу!

— Ох, и прыти в вас, Лариса Петровна! — Петр Владимирович улыбнулся в бороду, выразительно постучал себе в грудь, — с такой прытью сюда ведь не проникнешь. Отнюдь!

Вадим обратил внимание, что шофер сбавил скорость, ровнее повел машину — вслушивался.

— Вы уходите от вопроса. Бойтесь? — напирала Лариса.

— Поэтом речено: «Душа моя — часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же сомнения и страхи находят и на часового», — Петр Владимирович на какое-то время остановился, неожиданным движением вытянул откуда-то из-под бороды золотой крестик на золотой же цепочке. — Вот знак моей веры. И вашей — вот он, — кивком указал на лацкан кожаного пиджака Ларисы. — Зачем вам слова? Разве они другое скажут?

Лариса сняла.

— Я — порассуждать с вами, а вы... Что за поэт-то? Блок?

— Он.

— Ну, конечно: «В белом венчике из роз — впереди Иисус Христос». Этим, что ль, неосторожно сказанным, он вам близок?

Лариса еще какое-то время пикировалась с Петром Владимировичем, но разговор съехал на темы сугубо филологические, показав, впрочем, что церковный сан — помеха для литературных увлечений. Лариса шла в лидерах.

«Уазик» влетел на взгорок, замер на секунду и резко помчал вниз, к реке. Гена выключил мотор, безбоязненно обернулся:

— Сейчас проверим, везучий ли у нас попутчик.

Инерции хватило, чтобы вкатить на паромный дебаркадер. Гена принялся сигналить — сначала длинно, затем часто-коротко, потом стал выбивать «морзянку», наконец, обреченно подперев кулаком подбородок, локтем вдавил сигнальную кнопку.

— Хорошо, — остановил Сергей, — аккумулятор посадишь.

Гена, глянув на Петра Владимировича, укоризненно прицокнул:

— Нелады с везением. Явно.

Все, кроме Гены, вылезли из машины.

— Вот она — природа. Родила и — отдыхает! — Лариса громко вдохнула, раскинув руки.

На противоположном берегу, по бокам от причаленного парома, недремлющими стражами высились два осокоря. Ветерок чуть занимался, но его было достаточно, чтобы яркие тяжелые листья начинали свое короткое падение. Берег был уставлен небольшими стожками, поверху укрытыми прозрачной полиэтиленовой пленкой, прижатой еловыми корневищами и речными корягами. Вадим удивился полноводью — каких-нибудь пять километров выше по течению берега теснились друг к другу так, что в одну из остановок он перебросил через речку легкую сосновую шишку. Тут же — метров под пятьдесят.

Чуть ниже паромной переправы над голыми огородами, окаймленными черными шляпами снулых подсолнухов, тянуло дымком — зажгли картофельную ботву. Усадьба паромщика (кому еще тут на отшибе жить?), выглядывающая из густо-зеленой сирени, казалось, таилась, жалась к лесу, уходившему далеко вправо, под горизонт. Влево же, у небесного края, проглядывались избы какой-то деревеньки. То самое Михнево, объяснил Сергей. От деревни к реке спускалось жнивье с несколькими большими скирдами соломы. И впрямь верилось, что земля разрешилась от бремени и сейчас ей лень шевельнуться, согнать дрему.

Сергей попросил посигналить еще.

— Бывает, конечно, и подождешь, не без этого, — сказал он, не переставая выглядывать паромщика. — Может, в деревню зачем ушел. Оттуда переправа видна, так что примчит... Крепкий мужик, не разгильдяй — вон как обустроился. А сниматься, наверно, придется — мост тут затеваем. Весной наконец-то начнем.

— Вот, у нас всегда так: вместо того чтобы все взвесить, семь раз отмерить, мы напролом. Конечно, страсть как необходимо под дом человека мост подводить! — Лариса всех призывала в союзники.

— Неужели снесут? Не может быть, — сказал Вадим.

— Мост не здесь, выше будет, — успокоил Сергей. — Без работы Демьяна оставим — потому ему тут не житье.

— Хорошо, вздохнет житель — маеты без моста много. Глядишь, и с других мест потянут сюда, заселят пустоши, — сказал Петр Владимирович.

— Надеемся, — поддержал Сергей. — Успеть бы только, а то не к кому будет мост тянуть...

— Должно быть, паромщик? Легок на помине, — обрадовался Петр Владимирович, первым выглядевший с пыльным шлейфом катившую к переправе телегу.

На телеге сидели двое: один правил, другой из-за спины возницы то и дело вскакивал, норовил кнутом достать лошадь, и без того шедшую чуть не в галоп. Но не к парому подкатила телега, а к дому Демьяна. Сергей и Петр Владимирович сразу узнали в вознице Прова Федоровича. Оставшись у лошади, он из-под ладони всматривался в собравшихся на противоположном берегу, но, видно, никого не признавал, хотя Сергей и Петр Владимирович оба враз замахали ему: один — рукой, дру-

гой — шляпой. Как только хозяин скрылся в доме, из калитки выбежала девчушка лет трех в платице. Пров Федорович стал отсылать ее, но она не слушалась. Тогда он взял ее на руки и отнес в дом.

Все поняли, что там что-то произошло. Ждали.

Выбежал Демьян, бросил на телегу большой узел, опять умчал. Наконец, он под руку вывел женщину в накинутом поверх голубого плаща ярком павловском платке. Вслед им прибежала девочка, но уже одетая. За ней с трудом поспешал Пров Федорович. Женщина поцеловала девочку и показала ей и деду, чтобы шли обратно. Демьян взял под уздцы лошадь и стал разворачивать к спуску. Женщина попыталась сесть на телегу, но без помощи Демьяна не смогла. Тогда заметили, что она беременна.

Оставаясь у палисадника, Пров Федорович все что-то кричал Демьяну, показывая на машину, но тот не слушал, отмахивался и, только привязав лошадь к паронным перилам, вопросительно обернулся. Видимо, посчитав это за колебание, Пров Федорович подхватил девочку и суетливо, короткой тропкой, начал спускаться к переправе. Долетали его выкрики:

— Мне бригадир голову свернет, как ты лошадь запалишь!.. Язык не отсохнет людям вопрос задать!.. Не на пожар, небось, мчат... Нехристи, что ли? — это он сказал тоже громко, но все ж таки тише прежнего.

Сергей подождал, пока Пров Федорович подойдет ближе, позвал:

— Эй! Случилось что, нет? Помочь?..

— Нужно, нужно, ребятушки! Подмогните — демьянова женка родить учала, а старух, какие в разуме дите принять, всех в город позабрали нянчиться. Стало быть, в райцентр нам бы! Аккурат обратно... Опять же телега — какой из нее транспорт? Отжила... Не удержит Татьяна по такой тряскости...

— Не карчай! — оборвал его Демьян, отчаливая паром и берясь за рукоять лебедки. Трос, перекинутый от берега к берегу, натянулся, паром медленно повлекло через реку.

— Парня, вишь, им надо. Нянька есть, — дед вздохнул волосы девчушке, — теперь — ляльку. По плану идут.

Сергей хотел было посоветоваться, но Лариса и Вадим опередили: мол, конечно, отвезти надо, какой разговор. Тогда он весело крикнул, что за ними не станет — отвезут, Татьяна б только с сыном не подвела. Вадим порадовался случаю, смешавшему их планы. Ничего, отзвонят в «Заветы», извинятся: так, мол, и так, ребята...

Демьян, запыхавшись с лебедкой, бурчал на старика, чего он людей зазря булгачит, коверкает им день, сами бы управились. Но тут глухим стоном Татьяна напугала мужа.

— Что ты, Татьяна! Терпи, мать! — шумно выдохнул он, налегая на рукоять лебедки. А Татьяна, прислонившись спиной к телеге, глядела в холодную синь неба и старалась, чтобы крик не вырвался из нее.

Сергей, которого Пров Федорович с трудом, но признал-таки после их зимнего знакомства, сказал, что к нему гость. Пров Федорович, сдернув кепчонку, просиянно перекрестился, поклонился в пояс. Отец Петр осенил крестным знамением приближающегося к нему на пароме старика. Когда причалили, резко тряхнув дебаркадер, Пров Федорович и отец Петр троекратно поцеловались.

— А тебе что ж, батюшко, с комсомолией по пути вышло? — спросил старик, двусмысленностью вопроса смутив священнослужителя. — Ты уж извиняй, батюшко, что не готовым к духовному встречаю тебя: вишь, какие дела у Демьяна-то, а мне как в стороне быть? По-судски вот с Машуткой останусь, за двором догляжу. Переправу тоже-ть — не кинешь.

Татьяна, услышав, что здесь новопекарский поп, пожалилась:

— Демушка, ты не партийный, позволю, отец благословит?

— Глупости, — нахохлился муж. — Что это даст?

Отец Петр, чувствуя, что его не одернут, ласково заговорил:

— Я помолюсь за тебя, дочь моя! — и он широко наложил на себя крест, оборотился к неяркому языческому солнцу: — Господи, охорони рабу свою Татьяну! На тебя, господи, уповаем! Дай, боже, терпения и сил смиреннице твоей счастливо разрешиться от бремени! Во множестве щедрот твоих дай зреть нам благоугодное деяние твое...

Неожиданный, резкий и длинный гудок, напугав всех, оборвал просьбы к всевышнему. Отругав шофера, что уснул за рулем, Сергей наказал разворачиваться, дуть обратно. Татьяна, обвиснув на муже, лишь кивнула дочке и Прову Федоровичу, пошла садиться в машину.

— А уместимся? — спросил Демьян.

— Войдем, — успокоил Сергей, — я сзади на откидном, так что еще вакансия есть. Не желаете, Петр Владимирович? Могли б не разбивать компанию.

— И то, батюшко, ехай! — поддержал Пров Федорович. — Я ить живой, крепенькой пока. Лицезрел сан твой — и душа моя укрепилась во мне. Не оставь, береги словом божьим Татьяну, она праведница.

Вначале, пожалуй, никто не страшился этого полуторачасового обратного пути. Посмеивались над Демьяном, хмуро ответившим, что только за парнем едет. А вдруг двойня, да девки? Живот-то, и вправду, у Татьяны был немалый. Повыбирали имена и для сына, и для дочери. Петра Владимировича, веселья ради, попросили предложить что-нибудь из святцев. Выяснили, что Гене холостовать не долго, у Вадима — сын, у Сергея — две дочери, на третьего замахивается, да боится опять оплошать. Всем показалось странным, что у Петра Владимировича сын поступил в политехнический, дочь — в пятом классе. Хотя, казалось бы, что такого? Ларису деликатно обошли. Сергей ответил Вадиму, что, конечно, с медобслуживанием проблемы есть. Решают. Решат. Было б у кого роды принимать.

Татьяна сидела рядом с шофером и потряхивало ее вроде бы не так сильно, но она беспрестанно морщилась, трудно дышала. Когда узнали, что схватки начались час назад, разговор смялся и больше не налаживался. Молча переживали дорожные неудобия, а чем поможешь? Гена ловко работал на скоростях, но все равно, случалось, изрядно мотало. А ведь и поторапливаться надо.

Спустя четверть часа Татьяна не сдержала стон. Демьян обтер ладошкой ее лоб, обметанный крупной росой.

— Газку, черт, газку поддай! — не выдержал Петр Владимирович, когда через такое же время приступ повторился.

— Не дрейфь, батя! — крикнул в ответ шофер. — Не дадим семени стинуть! Будет кому пространства русские заселять! Горького, небось, не читал?

— Ну тебя! — досадливо отмахнулся Петр Владимирович.

— То-то же! Разве религия образование дает? Опиум. А мы так в школе еще проходили. «Рождение человека» называется. Рассказ, — Татьяна на это слабо улыбнулась, сдунула упавшую на лоб прядь. — Там Горький досконально показал, как он роды принял. Один! А нас сколько?

Закрыв глаза, обкусывая губы, Татьяна смеялась всхлипами:

— От балабол! От балабол!

— Кто сомневается, может выйти! Прошу изгнать неуверенность из наших рядов!

И Вадим испуганно подумал, что так ведь, может, и не доvezут. Что делать-то?.. Вроде пуповину надо перевязать и перерезать, так?.. А чем?.. Перевязать можно бинтом, есть же, наверно, у Гены, должна быть у него аптечка. Теперь — резать... Да, резать... Нож? Бритва? Ножницы?.. У кого?.. Вадим быстро obeжал взглядом всех. Только разве у Гены. Спросить?.. Без паники. Рано. Что еще? Спирт. Его-то, поди, точно нет. «Пшеничная». Вымыть руки, протереть нож... Должен же он, мать честная, у шофера быть!.. Так. Это если все будет нормально, если пойдет он головой, а не ножками... Господи!..

Ира Димку родила в маленьком тихом роддоме. У нее было несколько разрывов, и потому с выпиской затягивалось. Когда Вадим примелькался среди нянечек, по два раза на день принося Ирине передачи, они попросили его помочь. Со стыдом и боязнью он натянул халат, шапочку и за пожилым угрюмым санитаром пошел в родильную. По дороге прихватили носилки с брезентовым ложем. В родильной никто не кричал, было тихо, много солнечного света, на трех столах лежали роженицы, до подбородков прикрытые простынями. Все тяжелое было позади, и они лукаво поглядывали на Вадима. Буркнув «Здрасьте!», он, потупясь, прошел меж столами, стараясь ни на кого не смотреть, но тем не менее успел заметить многое, сконфузившее его еще больше. Около одной из рожениц они укрепили носилки, и санитар командовал: «Пошла!» Крепкая девица, румяная, будто ото сна, тяжело плюхнулась на

носилки, на ходу подтыкая под себя простыню. «Раскормилась», — то ли всерьез, то ли шуточно укорял санитар, пока они несли ее в палату. Потом Вадим горделиво привирал: и понасмотрелся же он тогда — мама родная!

«Воды!» — вдруг судорожно вспомнилось ему, и Вадим шепнул об этом мужу.

— Воды? Какие воды?.. — не мог тот понять.

Татьяна глухо простонала, что нет, еще не отошли. Закинутая на спинку сиденья, голова ее истово моталась, и никто не решался помешать этому, понимая, что так ей легче.

Левой рукой Татьяна вцепилась в руку шофера, которой он переключал скорость. Угадывала, когда он выжимал сцепление, менял передачи, она работала с ним в лад. Но, кажется, и он чувствовал движения ее плода и скоростью унимал ее боль. Лариса оцепенело смотрела на Татьяну, пыталась принять в себя хоть часть ее женской муки, опустошенно плакала. Петр Владимирович, когда Татьяна закрывала глаза, мелко крестился, что-то шептал. Муж Татьяны, сложив ладони ковшичком, поддерживал туго уложенную косу жены, подправлял норовившие выпасть шпильки. Сергей часто поглядывал на часы, следил за дорогой, топорился увидеть шоссе, по которому уж и рукой было подать...

«ВАСЮТА, ВСТАНЬ! ВАСЮТА...»

Климов, когда узнал про Гришку Глухова, не сдержался, выругался прилюдно, в приемной правления, и пригрозил кулаком в раскрытое дневному зною окно: «Ну гад! Ну подлость!» Тут же наказал бухгалтерше Анфисе, как закончит передавать сводку в район, дозваниваться до Картузова, чтоб оформлял к чертовой матери Глухова на принудилковку. Сегодня же.

— Женат? — неожиданно спросила молоденькая преподавательница пединститута, возглавлявшая группу студенток, которые приехали собирать (Климов не очень-то и понял) какие-то диалекты. Это она прибежала с известием про Глухова.

— Кто, я? — опешил Климов и тут же начал краснеть, поскольку женат не был и тему эту с того времени, как разменял четвертый десяток, считал больной для себя.

— Не вы, естественно. Глухов ваш.

— Глухов женат.

— Дети есть?

— У него? — И, поняв, что сморозил еще одну глупость, быстро ответил: — Есть. Двое. Парни. Сережка третий класс кончил. Вроде неплохо. Витька в первый должен идти. А что?

Преподавательница молчала. Сняла большие, с темными стеклами очки, стала их протирать. По ее близорукому прищуру Климов понял, что очки не просто солнцезащитные, и ему стало совестно за то, что он при ней крепко выругался. «Надо, наверное, извиниться, — подумал Климов. — Но не сейчас, позже».

— Я могу переговорить с вами без посторонних? — наконец спросила она, водрузив очки-плошки на свой симпатичный носик (на фыркнущую Анфису — ноль внимания).

Климову она начинала нравиться все больше: короткая, мальчишеская стрижка светло-пепельных волос (странный, правда, цвет: красит, должно быть, решил Климов), по-цыгански длинная пестротканая юбка. Весело удивило его еще при первой их встрече, что преподавательница принялась разгуливать по деревне босой, в связи с чем, как ни странно, вызывала неодобрение старух, основных носительниц диалектных особенностей. Единственное, что сам Климов пока еще не мог в ней принять, так это одну деликатность, вызывающе бросающуюся в глаза местному, особенно мужскому населению: под сжатым кулаком, нарисованным в обрамлении какого-то нерусского призыва, в тонкой майке-безрукавке нестесненно волновалась девичья грудь. Чтобы смотреть на это спокойно, надо было, конечно, иметь определенное мужество. Именно в силу последнего обстоятельства Климов подрастерялся и потому лишь жестом, без слов показал на дверь своего кабинета.

Он почти не видел ее глаз, но чувствовал, что она смотрит на него весьма зло и пристально.

— Слушаю вас, — сказал он, закрыв дверь и усаживаясь не в кресло, за полированный, отвратно скрипящий стол, а напротив нее, на стул.

— Действительно, послушайте меня, я-то вашей ругани уже наслушалась.

— Кхм, извините, не сдержался. Так-то, можно сказать, я не ругаюсь. Вам и народ скажет. Только пьянь эта всю кровь высосет! Верите, я меньше в хозяйстве нерв треплю, чем с этим уродством бьюсь!

— Так уж и бьетесь?

Климов захлебнулся обидой:

— Между прочим, уважаемая... извините, забыл, как вас звать-величать...

— Ксения Петровна. Можно просто Ксения.

«Ксения!» У Климова вдруг опала вся гневная. «Ксюша!» Имя-то какое, господи. И ему так захотелось произнести его вслух, но... увы. «Может, в кино на завтра пригласить?» — решительно подумал Климов. — Не откажется... Вдруг да не откажется, чем черт не шутит».

— Во-первых, — резко сменил тон Климов, — разрешите официально принести вам извинения за работника нашего хозяйства, который, находясь в нетрезвом состоянии...

— В рабочее время.

— Да, к сожалению, в рабочее. Так вот за то, что он вас... он к вам... Он ведь вас оскорбил, я так понял?

— Если уж говорить про «во-первых», то не с меня надо начинать, а с того, что идет уборка хлеба. В это время среди бела дня по деревне на огромном тракторе, который так ревет, что все кругом стоном стонет...

— На К-700-м.

— Возможно, вам лучше знать. Так вот, среди бела дня на этой зверь-машине сидит пьяный хам! Начать с того, что пьяный. А потом уже, что хам. Он мало того, что не на поле...

— К нам лес пришел. Он должен был утром на станцию гнать. Туда мы еще неделю назад прицеп послали под погрузку. Я договорился, чтоб наших людей не мотать, там сами погрузят, а мы только заберем. Черт!

— Возможно, вам лучше знать. Короче, мало того, что он не там, где должен быть, он еще дорогое топливо жжет. Но и этого мало. Он разрушил пряху у нашей хозяйки Полины Семеновны, пенсионерки.

— Забор починит. Тут нет вопросов.

— Затем. Он создает угрозу для жизни людей. Я каким-то чудом избежала участи быть изувеченной этой адской машиной. Но где гарантия, что сейчас это не грозит кому-нибудь другому?.. Он, между прочим, почему прясло снес? Хвастал, что так вприпрыг остановит — в спичку зазор будет. Кстати, заставлял меня на верхнюю жердину сесть. Это ему почему-то очень хотелось.

— Выразался, наверно?

— Не без этого. Но вообще-то он мне предлагал руку и сердце, а Зинку, я так думаю, бедную женщину, мыкающую с ним горе, обещал выгнать. В одночасье, он сказал. И голиком за ней заметет, тоже говорил.

— Жену это, — буркнул Климов.

— А хотела я вам знаете что сказать? Вернее, спросить...

И Климов расстроился, поняв, что не ответит на ее вопрос, хотя даже не предполагал, о чем он будет, этот вопрос. Но чувствовал: о том, что он и сам знает, да боится спросить у себя.

— Вам не страшно? — почти шепотом произнесла она.

— Страшно? — искренне удивился Климов. — Отчего?

— Не знаю, как точнее все это объяснить... Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли... — В волнении она закинула ногу на ногу, и Климов мельком удостоверился в ее босоногом упрямстве, хотя сам упреждал ее, что она в два счета может напороться на какую-нибудь железяку или стекло — этой гадости здесь навалом. — Мы тут с девочками две недели живем. Почти каждый день видим пьяные безобразия. Это какой-то унылейший кошмар! Вы верите, что этому когда-нибудь наступит конец?

— Верю, — ответил он.

— И видите его?

— Конец, что ли? — Климов задумался. — Нет, пока не вижу.

— Вы же руководитель! У вас власть! Надо объяснить людям! — загорчилась Ксения.

— Говорил, обсуждали, объявлял. Кое-кому даже сроки давали. За пьянку в сочетании с хулиганством. Условно, правда. Занимаемся профилактикой. Комсомол стал активнее подключаться. Результаты есть, но закрепить успех пока не удается: попивают. — И добавил, согласно кивнув: — Я вас понимаю, неприятно все это, факт.

Ксения, сникнув, грустно, с зарождающимся сочувствием смотрела на худого, загорелого Климова. Он отпустил усы, но двухнедельная щетина остро торпорицалась и не сдавалась активному приглагоживанию.

— Присоветовали вот отпустить. Солидности, говорят, надо прибавить, — без смущения улыбнулся он, предположив, что Ксения, видимо, заметила его настойчивые усилия придать усам требуемое направление. — Идет, вы считаете?

Она только сейчас поняла, что Климову, пожалуй, где-то около тридцати и он посматривает на нее как-то не так, то есть ясно, что жалобщицу видеть в ней ему не хочется.

— Усы ваши, думаю, еще вырастут, и, возможно, они вам будут идти. По крайней мере сейчас мне трудно сказать что-то более определенное. Лично мне, например, нравится, когда у мужчины усы или даже борода. Только приличные чтоб. Единственное, что противно, когда этот мужчина пьет и макает свою растительность в потребляемую им жидкость, — выговорила она ему, стараясь в последнее вложить обидный для него намек. — А вы не думаете, что, пока мы тут с вами обсуждаем вещи важные, конечно, но достойные, на мой взгляд, другого места и времени, Глухов — а ему ведь и море по колено — где-нибудь натворил бед? На «Ка»-то вашем, на семисотом!

«Все, приглагошу. Не откажет». Климов утвердился в намерении испытать шанс.

— Да, есть опасность. Хотя классность водительская у него от бога, но алкоголь есть алкоголь. — Климов быстро встал. — Он много выпил?

— Это вы меня спрашиваете?

— Да нет, я... То есть вас, конечно. Но я в смысле того, что здорово ли он пьян был?

— Мне трудно ответить, поскольку не знаю вашей шкалы измерений. По мне — так здорово. — Ксения тоже встала. — Едем?

Климов замаялся, решая, брать или не брать ее с собой. «Опять это пьяное мычание, ругань, не дай бог, кулаками размахнется».

— Не совсем это удобно, — сказал он. — У нас там, видимо, мужской разговор предстоит, не знаю, как он сложится...

— Я ведь не семиклассница, кое-чего насмотрелась и наслушалась. Думаю, вы меня не удивите. Но боюсь, как бы он к моим девушкам не пристал — они сейчас по всей деревне разбрелись.

— Ну, хорошо,— сказал Климов, радуясь такому желанию Ксении.— Раз так — едем.

Только включив зажигание, Климов понял Анфисину подковырку: «Парой?» — от которой она не удержалась, услыхав, что председатель едет искать Глухова. «Плевать». И он решительно взял с места.

«Ниву» получили весной, по дождю ее не трогали, а гоняли на старом «газике», так что парадная лакировка была лишь тронута утренней пылью, все же остальное радовало глаз и слух: ни царапины, ни скрипа, ни тарактения. Климов водить любил, ездил, понятное дело, сам, иногда, если позволяло время, вместе со слесарями ковырялся в машинных внутренностях. Правда, по весне несколько раз просил, чтобы готовили двуколку. Понравилось, да полетела рессора — ржа попортила. Новую все никак не доведут до ума, хотя, честно, он не больно-то и поторапливал — и без того зашивались с ремонтом.

— Значит, у Семеновны вы?

— Да. Это надо сначала направо, потом у магазина...

— Не заблудимся авось,— перебил Климов. И неожиданно даже для самого себя подмигнул босоногой пассажирке. У той над очками удивленно взлетели бровки.

Перед старым, но еще крепким пятистенком Семеновны дерновина была сорвана, стояк с привязанными еловыми жердинами порушен. («Ну и разогнался, гад!») След от лихого разворота вытянулся к грейдеру, по которому машины шли на элеватор. «Куда он ходу дал? Что у него на уме, у паразита? Догуливать мог рвануть. Это тоже вариант. Хотя бы к Хлебову на водокачку. Дружки вроде». Климову стало тоскливо оттого, что это вполне реально. Даже очень.

— Советовал бы остаться,— сказал Климов, обдумывая, как бы срезать дорогу.— Растрясу.

— Не хрустальная.— Она взялась за дверцу машины.— Время теряем.

Хотя Климов выруливал, где поглаже, «Нива» взбрыкивала почти что на ровном месте. Ксения даже ойкнула, но со смехом, и Климову вдруг показалось, что она тоже подмигнула ему. «Эт-та интере-е-сно!» Он обрадовался: свет, кажется, забрезжил. Кольца обручального, он осмотрел, на ее руке не было.

Вылетев на грейдер, легковушка шаркнула задним мостом по гравию, и Климов поморщился своему лихачеству. Если Глухов на водокачке, то ехать тут всего ничего — километра два. А если нет?.. Ну что ж, все равно надо сначала к Хлебову.

На водокачке тот сидел в наказание — как снятый с самосвала. Будто бы он и не запил, но дважды чуть ли не день в день попался Климову разве что не на бровях и в конце концов фарой ткнулся в комбайн. Климов сказал, что снял его с машины до конца уборочной, но — по всему — надо будет возвращать, так как вместо него посадить за руль было некого, кроме его меньшего брата Ивана, который только по весне, перед

аттестатом за школу, и получил-то права. Хоть он сам просился и крепкий вроде парнишка, не хилее старшего братца, но тут Климов крепко нарушал. Непорядок это.

Когда одиноко на взгорке завиделась водокачка, Ксения спросила:

— Думаете, он там?

— Не исключено. Здесь дружок его Хлебов. Вместе обычно с рельсов сохдят.

Догнав груженную зерном машину, Климов нырнул в густую пыльную заверть и, поравнявшись с кабиной грузовика, начал сигналить и махать рукой, чтоб тормозил.

— Глухова не видал? — крикнул Климов, приоткрыв правую дверцу.

— Никак опять гулять подался? — весело щурясь от полдневного солнца и едкой дорожной пыли, пеленой заволакивающей машины, ответил молодой, стриженный под нулевку шофер. — Ну вот, а мне грозите, что армия меня перевоспитает. Или Глухов из особых, из трудновоспитуемых?

— Как увидишь его — ссади с трактора. Я велел, скажешь. И всем кого встретишь, передай. Понял? — Не дожидаясь ответа, Климов потянулся закрыть дверцу, и, хотя Ксения откинулась на спинку сиденья, ожегся о сжатый иностранный кулак на майке — Кхм, извините.

Шофер-парнишка понимающе осклабился:

— Давай, председатель, газуй! Все мы люди, все мы человеки!

— Откуда это он такой? — спросила Ксения, как только они поехали дальше.

— Стриженный-то почему? В армию осенью, вот и пижонит. — Климов съехал с грейдера на грунтовку. Горячее прикосновение не забывалось. — Тоже, между прочим, большой любитель острых ощущений. Дискотекой в клубе заправляет. Мать с отцом в военкомат ездили, просили, чтоб весной призвали, да что-то не вышло. Пока ничего — работает. Может, и за ум возьмется. И добром я и руганью с ним — все испробовал. Вы бы, кстати, присоветовали что-нибудь из новых методов. Небось, в институте вас учили, как народ на путь истинный наставлять. Это же ваша профессия — воспитывать. Или не так?

Ксения не поняла, шутит он или говорит всерьез, поэтому пыталась найти в ответ нечто умное и годное на тот и другой случай.

— Ладно, я понимаю, — вырубил Климов, — можно втолковать человеку, что такое хорошо и что такое плохо, но это при том, если говоришь с ним на одном языке, пусть даже и на разных диалектах. А пьяный — хуже немтыря: на пальцах и то ему не объяснишь. Тут как быть?

— Вы сами, что же, не пьете?

— Почему?.. Бывает...

— А вы бросьте! Насовсем!..

Климов улыбнулся:

— Хорошо, попробую.

У водокачки — уже точно — никакого трактора не было, зато прикнулся голубой ГАЗ-53 с наращенными под зерно бортами. Судя по номеру, это должна была быть машина Хлебова-старшего.

Подъезжая, Климов, сколько ни всматривался в пыльные следы протекторов, примет К-700 обнаружить не мог. Попросив Ксению подождать, пошел заглянуть в дежурку.

Дверь туда была настежь. На пороге, свернувшись, лежали две худые серополосатые кошки. Услышав шаги, они одновременно подняли головы, с видимым удовольствием потянулись и медленно разошлись в противоположные стороны — как стража, ритуально расступившись перед Климовым.

Вначале, со свету, было трудно что-либо разглядеть, лишь слышалась какая-то возня в углу. Постепенно, присмотревшись, Климов узнал Ивана, младшего Хлебова. Он кого-то усиленно тормозил, пытался поднять с пола и втянуть на лежак. Климов догадался, что это он брата на, больше некого.

— Ты что здесь? Почему не в рейсе? — спросил Климов.

Иван выпрямился, почти крикнул:

— Дурак я, зачем на его машину сел? Он-то теперь горюет! — И опять взялся за брата. Тот бормотал несвязно и вырывался.

— Оставь, — сказал Климов, — пусть на полу полежит — не зима. Зато не упадет. Тебе кто сказал про него?

— Мать наказывала заглянуть. Как чуяла. От господи! — по-взрослому захохотал Иван. — Эй, Васюта! Ну что же ты? Встань! Васюта...

— Это что ж, он один так набрался? Будто бы Глухов сюда не заглядывал... — подумал вслух Климов.

Он еще минуту-другую смотрел на бессмысленную возню, потом остановил парня, положив ему на плечо руку:

— Ты вот что, Ванюш, давай сейчас на трассу — хлеб-то, сам знаешь, не ждет. Не привык он нас ждать. Так что поспешай. А с братцем не елозь — пустое. Через часок я кого-нибудь пришлю сюда. Постараюсь найти человека.

Отчаяние младшего Хлебова: «Васюта, встань! Васюта...» — еще долго слышалось Климову, пока он гонял вместе с догадливо молчавшей почти всю дорогу Ксенией на ток, зерносклад, на птицеферму у пруда, где наконец и обнаружились увязнувший в прибрежном иле, залепанном утиными перьями и пометом, трактор и возле него протрезвевший, до потешного вывозившийся в грязи Глухов, который, еще только завидев председательскую «Ниву», стал бить себя в грудь, что, мол, гадом будет, если еще хоть раз хоть грамм. Но Ксению узнать отказался наотрез, хотя по настоянию Климова извинился-таки перед ней. «Хорошо, авансом могу», — оправдывался он.

В кино Климов Ксению все ж таки пригласил. Она согласилась, но с ней пришли почти все ее студентки. Климов расстроился, решив, что это они специально. Видно, так оно и было, потому что вечером, пока Климов их провожал, Ксения смеялась-заливалась бог весть чему.

«ФИМА, НЕ ШЕВЕЛИСЬ!»

Уходил сентябрь. Над лесом, слепящим мягким пестрым цветом, вьюн-речонкой, прозрачной и ледяной, золотым редким ежином стерни, широкими валками расчесанными полями льна — над всем этим стоял густой пьяный дух осени, дорода.

Но как-то к ночи небо неожиданно и спешно затянулось клочковатой пеленой, и вот уже второй день, как сочится мокредь, редко и ненадолго сбиваемая зябким ветром.

Девчата, забывавшиеся на льне, в работе, от дождливого безделья затосковали по дому, учебе, техникуму и так слезно стали молить Костю, что он сдался, махнул рукой и пошел к председателю выпрашивать досрочный отъезд.

Председатель болел. Лежал на черной кожаной кушетке, небритый, лохматый, в синей футболке, кутался в зеленое ватное одеяло.

— Дождь, Ефим Иванович. Здрасьте.

— Дождь. Здрасьте. Совсем дождь.

— Плохо, — сочувственно сказал Костя.

— Плохо, плохо. Лен преет, транспорт не идет, председатель в простуде. — Он в подтверждение сербнул носом, промокнул жидкостью скомканным кусочком бинта и сунул его под подушку. — Народ от безделья делает плохие поступки. Да, только труд делает человека человеком. Согласны?

Костя неловко переминался, не решаясь сесть без приглашения да и не зная, как реагировать на странный вопрос председателя.

— Лиза! — крикнул Ефим Иванович.

В прихожей, где задержался председателева жена, раздался хлесткий резиновый удар по стеклу.

— Лиза, посади товарища руководителя! Оставь ты их на минуту!..

На крыльце в ответ на Костины объяснения и просьбу она сразу предостерегла: «Лизавета Максимовна. Жена».

Жена у председателя была миниатюрна, с большими усталыми глазами и густой резкой проседью. Глухое без отделки черное платье придавало ее тихой, беспшумной фигуре черты давней скорбности. И если бы не веселенькие голубые гольфы, поверх которых были натянута низкие, словно тапочки, белые шерстяные носки, то трудно было бы начать с ней разговор, не выразив прежде соболезнования по какому-нибудь большому, печальному поводу.

Лизавета Максимовна вошла и улыбнулась виновато.

— Извините, садитесь, конечно. Садитесь вот сюда, у окошка. — Она что-то сдунула со стула. — Тут предел инфекционности. У Фима ангина. Она передается.

— Народ, он ведь не падок на работу, — продолжил Ефим Иванович, — он...

— Фима! Фима, не шевелись! — Лизавета Максимовна, на замахе держа черную фабричного производства мухобойку, мягко шагнула к замершему супругу и с посвистом, резко припечатала на волнах одеяла зазевавшуюся жертву.

— Он когда работает? — Ефим Иванович, не обращая внимания на жену, сердито шмыгнул носом. — Когда о-за-да-чен! То есть: когда у него есть задача, каковую ему и надо выполнять! Неверно? — выжидательно бросил он.

— Людям тоже, Фима, хочется отдохнуть, — вздохнула Лизавета Максимовна и сочувственно поглядела на Костю: мол, вы уж не обращайтесь внимания, такой он у меня всегда — характерный.

— Не выставляй свою незрелость. Ты газеты читаешь? Какой отдых, когда столько дел? Надо выполнять задачи — из этого состоит повестка дня!

Все, Косте финал разговора стал ясен.

Председатель без явной симпатии, изучающе стал приглядываться к гостю. Его супруга, видимо, оценила назревающую ситуацию и потому спросила:

— А вы, извините, что ж, в самом городе живете?

Костя кивнул:

— В самом. А девочки, они кто в общежитии, кто дома. На квартирах есть.

— Мы ведь тоже раньше в городе жили. Ефим Иванович тогда в областном управлении...

— Лиза, товарищ пришел по делу.

— Фима, какое дело? Ну какое дело — такая погода!.. Сидите небось да со скуки мух бьете, да? — заулыбалась она Косте.

— Да я вот, собственно, Ефим Иванович, тоже из-за погоды к вам. Сидим действительно уже третий день. Горизонта не видно...

Ефим Иванович непроницаемо молчал.

— Конечно, конечно, такая погода. Такая по-го-да... — отрывисто пришептывая, Лизавета Максимовна напряженно следила за взбалмошным, нервным полетом.

— Домой хотите, — без энтузиазма понял председатель. — У вас когда срок?

— Да двадцать пятого! — живо ответил Костя. — Тут и осталось-то три дня! Если бы погода — мы и не заговорили б! Надо — тут без всякого. Город — селу, село — городу. Кхм, так сказать, взаимовыручка, — расслабился он.

Председатель придвинул к себе табуретку с черным угловатым телефоном, простуженно засопел.

— Глаша?... Глаша, район дай, управление. Чевыкалова, скажи... Ладно, жду.— Он отнял трубку от уха, стал постукивать ею по плечу. Многозначительно помолчал, потом с нажимом, не скрывая иронии, начал выговаривать: — Хорошо. Вот если без общих фраз и всяких там рассуждений. Возьмем такую философскую категорию: человечество должно быть. И город, и село. Так? Однако я задаюсь жизненно насущным вопросом, глядя на окружающее бытие: где же все-таки нити, связующие нас с деревней, а вас с городом? Из чего такого они сделаны, позволяете узнать?

Костя почувствовал себя донельзя неловко — так, словно без дозволения попользовался чем-то чужим, а ему и ткнули пальцем.

Усмехнулся Ефим Иваныч уже веселее и снисходительнее.

— Хорошо. Задам этот же вопрос на другом уровне. Мы живем в деревне... Але! але! — дернулся он. — Але! Да жду я, жду я! Ладно... Так вот, живем мы в деревне, собираем рекордные пуды и все такое. А за что?

Лизавета Максимовна где-то за Костиной спиной утвердительно прищелкнула биткой.

Костя заерзал на стуле.

— Как «за что»? — еще слабо доходило до него. — В смысле...

— В смысле того, что вот ко мне тут доярка одна, этим годом школу кончила, тихая такая...

— Раечка? — отозвалась Лизавета Максимовна.

— Раечка эта, да. Приходит, плачет: в город пустите, на стройку хочу. Я ей: так и так, говорю, Раечка, хлеборобы, мать-земля, призвание и все такое. Ты же — на сознательность бью — на выпускном вечере выступала, про нивы и леса песню пела! Кого же за себя оставишь, коров-то доить надо?.. Пропаганду веду, а сам-то чую...

— Фима, не шевелись!

Ефим Иванович замер, ожидая удара. И Костя гипнотически затаил дыхание.

Не стало еще одной разносчицы микробов.

— Н-да-а... Когда думаешь, многие мысли приходят в голову... Чего они там замолкли? Але! Але, черт! Не хочешь, а выругаешься. Да, да! Ну, слава богу, — председатель повеселел. — Я, я. Здорово, здорово. С чего веселый такой? Опять небось со своей... Ну да, рассказывай!.. Рассказывай, говорю! Кхе-кхе. Знаем мы вас, городских. Мы тут сеем-пашем, лен теребим... ха-ха... Да-да, мы уж и корову-то если подергаем за это дело, так не с той радостью, как вы своих... ха-ха...

— Фима!

— Ха-ха... Ладно-ладно. Жена вот остерегает, без фамилий чтоб, говорит... Ну да, болею вот... Ясное дело, уж не до этого. Ха-ха! Между прочим, все хотел сказать: ты бумагу наверх будешь готовить, отметь нас

по закреплению школьников. Что хорошо, то хорошо — зачем от начальства скрывать? Ха-ха! Так я чего звоню. Девчата у меня тут из техника, домой просятся, говорят — дождь и все такое. У них когда срок?.. Вот и руководитель их тут, двадцать пятого, говорит. Так отправлю их, что ль?.. Да могу, конечно, найти — плох тот руководитель, если людей не может задействовать... А, ну ладно. Ладно, говорю, решим. Сами. Ну, привет этой, как ее... Ха-ха! Ну, пока. Пока.

Ефим Иванович, еще улыбаясь разговору, нехотя опустил трубку.

— Говорят, по местным условиям решай. По нашим то есть, по передовским.

Костя молчал. И в своем молчании находил что-то просительное, заискивающее. Это злило.

— Да что решать, Фима? — Лизавета Максимовна опять пошла на выручку Косте. — Что решать? Отправь ты девушек — намучались как за месяц-то. И работали хорошо и опять же погода. Какая сейчас работа?

— Да хоть на сушилке. Льна вон сколько, зерно помокло. Парни если, их-то на строительство можно было б... А чего, кстати, без мужиков? Не поступают разве?

— Мало. И те со справками.

— Ну, естественно, вырастили защитников.

— Есть работа — давайте. Чего сидеть? Так и заработали что — проедем, — сухо, похоже, с обидой сказал Костя.

— Я, молодой человек, рассуждаю вообще, — примиряюще заговорил председатель. Он опять потянул носом, утерся бинтиком и закачал головой. — Вот вы вроде как обижаетесь на меня. Допустим. А как же тогда понимать вас насчет взаимовыручки?

— Селу трудно — мы помогаем. Ребята наши так и на посевной были. Я тоже ездил. Что можем — всегда.

— Вот и вы тут кампанию видите — сев да жатву. Дело большое — кто спорит! — Ефим Иванович здесь остановился, покусал обтресканные припухлые губы, сказал тихо: — А жизнь-то вся?

Костя и сейчас с натугой сознавал зыбкий и странно неприятный предмет разговора. Он только замечал порой, как голос председателя вдруг начинал отдавать какой-то обидой. И чувствовалось, что обида эта давняя и ему столь же давно хочется вынести ее на люди, пожалиться, да что-то мешало всегда и теперь. словно кто-то все время дергал его за рукав, остерегал...

— Я не о нас. — Ефим Иванович кивнул на занятую жену. — Не о себе. Ладно. Но та же Раечка, чем она хуже ваших девушек?

— Но, по-моему, никто не говорит, что она хуже, — искренне подивился Костя. — И странно, зачем ставить так вопрос?

— Конечно, Фима, ты не прав, — вступила Лизавета Максимовна. — Ну действительно: кто, скажи на милость, виноват, если Раечка эта здесь родилась, а не в городе. Ну кто?.. Другое дело, специалисты, приезжие.

Она вздохнула, грустно, издали посмотрела на Костю.

— Раньше, особенно по субботам, у нас часто собирались друзья, общество. Много играли. У нас прекрасный, великолепный инструмент был — венский, старинный. Он у дочки, там остался. Боже, ну что говорить, ах, что?.. Понятно, тут несколько иная обстановка. Но ты, наконец, Фима, сам виноват, согласишься. Ох, я же говорила, как я говорила тебе тогда...

— Лиза, я не нахожу, что все это представляет сейчас какой-нибудь интерес. Во-вторых, я ж не о нас, не себя имею в виду.

— Я просто к слову. Конечно, — растревоженно ответила Лизавета Максимовна.

— И даже не специалистов. А, так сказать, широкие массы, селян.

Косте становилось стыдно за весь этот разговор, он чувствовал, что краснеет, и захотелось тут ему сказать что-то простое в общем-то, без дипломатии, но весомое и меткое. И он мучительно, спешно искал слова...

Вел он физкультуру, да и то второй год. И если надо было, к примеру, показать и объяснить новое упражнение на брусьях, он шел на снаряд, каждый элемент отсчитывал — «раз, два, три, четыре» и заключал: «Вот так. Поняли?» Все понимали.

Тут же, как ни страдал он, не находилось у него ни связной мысли, ни ясной фразы, а вертелось что-то чересчур откровенное и, он боялся, грубое — насчет совести и вообще того, что как это, мол, ты, мужик, здесь держишься? Закипало все это невысказанное злостью, но он сдержался, спросил:

— Извините, а что же вы девушке той ответили, Рае?

— Рае? А чего ей ответить? Употребил свое газетное красноречие и уговорил остаться на годик, а потом, говорю ей, хоть в город, хоть в Сочи лети-прощай.

— И ведь улетит!

— Молодой человек! — усмехнулся Ефим Иванович. — Что значит год для деревенской девушки в семнадцать-то лет? Вечность! Она десять раз замуж выйдет, детей нарожает, хозяйство заведет.

Ефим Иванович печально заворочался на кушетке, вытянул одеяло под мышки, разгладил складки, края уткнул под себя и задумчиво глянул поверх Кости.

— Конечно, мы останемся здесь. Мы будем давать план и еще кроме. Это так же ясно, как и то, что сегодня дождь и завтра, верно, тоже будет дождь.

Костя спрятал неожиданную улыбку.

— Я не хочу, господи прости, упрекать вас в чем-нибудь. Это было бы смешно и ребенку. Но, знаете, иногда охватывает сердце чувство... не то чтобы обиды, нет, но чувство...

— Фима! — Лизавета Максимовна неслышной тенью возникла около мужа, но тут же подсадовала на пустой замах: — Учужла, шельма!

Они такие со временем чуткие становятся! Вас как, не беспокоят? — спросила она у Кости.

— Сейчас похолодало — почти нет.

— И у нас вот остатки. Да, Фима?

Председатель протяжно и тяжело посмотрел на жену, буркнул:

— Да, Могикане. Последние из могикан.

Лизавета Максимовна рассмеялась, Костя добродушно хмыкнул.

Ефим Иванович, не меняя выражения, перевел взгляд на Костю, устало потер подбородок, вяло проговорил:

— В общем, сегодня до вечера погоды не будет — завтра утром ступайте в бухгалтерию, расчет дадут, я скажу. За помощь спасибо. Приезжайте еще. Если пошлют.

На крыльце в Костю свежо и весело пахнуло влагой, травяной прелею. Занялся ветерок, он раскачивал дождливый сеянец, густил серые тучи, оставляя на небе пока еще бледные, без яркой голубизны, но быстро растущие промывы — вот-вот и прорвется сквозь волглую пелену солнечный луч. Задрав голову, Костя шлепал по лужам и с волнением ожидал этого трепетного мгновения природы, которое бы не заставило его долго объясняться с девчатами.

«В НАМАНГАНЕ ЯБЛОКИ...»

В последний вечерок Павка так гульнула с Лехой — школьной своей любовью, что с полночи больно торкалось сердечко, липким жаром вспоминались горячие Лехины руки и еще жгучее пылали отметины его жестких губ, когда начинала тереть их влажным краешком горошковой наволочки.

«Гада, гада рыжая! — всхлипывала Павка. — Захотел что, бесстыжая морда! На-ка выкуси!..» Затихала она ненадолго, потому что сразу видела и себя, вмиг сомлевшую от таких жданных глупых слов, без оглядки отвечающую на Лехины ласки. И прогнать эти, осязаемые, как явь, видения Павка могла только плачем и новой руганью.

Часто со страхом рушился недолгий сон, и она трогала свое тело, словно не веря, тут ли она, да и она ли это уже теперь, и ужасалась — здесь, здесь он был, здесь...

Тихое, с грустинкой стояло утро. Красно-медно взблескивало на осинных верхушках уже холодное августовское солнце. Кремовыми стружками ивовых листьев обсыпан берег неширокой речушки. В промоинах тумана студеная вода течет медленно, тяжело, не журчит под берегом. А по левую руку ель с осинничком, береза кое-где — за версту грибом шибает.

— Костянички вон похватай, в дорогу-то.

— Росно.— Павка зябко дернула плечами и туже поджала ноги, укрытые старым тулопом (мать у огородов нагнала, бросила).

— Дедунь, пошибче нельзя? Так ведь и опоздать можно. Турни Борьку — обленился совсем.— Дед тронул вожжой, цыкнул, но Борька, древний колхозный мерин, лишь закатил глазуревое огромное бельмо, чуть вывернул морду: ты чего, мол, старый, успеем и так.

Не пелось Павке что-то в утро прощальное, да и слова те дурацкие куда из башки делись. А то ведь весь месяц — последние свои каникулы (да и не каникулы уж — первый свой отпуск) — с прихлестом на нерусский мотив вытанцовывала:

И-эх! В Намангане яблоки-и-и
зреют ар-р-роматные,
на меня не смотришь ты-ы-ы,
и-эх! Неприятно мне-е-е!

Дед завздыхал от долгих муторных дум своих, полез за махрой.

— Эх, умно ли, Павка, делаешь? Видано ли: пять лет наукам учиться — и в таку даль-болото забраться!

— Не болото. Там песчаная почва. Горы.

Щелкнул дед крышкой «табашницы» своей — из-под монпансье корбки, — сигарку запалил. Сладко так в стильном лесном настое припахнуло дымком, и Павка было помягчала к деду.

— Дедунь, распределение ведь. Отучился, тратились на тебя — теперь отработай. Сам знаешь.

— Да изжаришься ты там за три-то года, спечешься. Аль нельзя было ближе, в Расею попроситься? — Буркнул: — Если уж нашенских детишек тебе нет охоты учить.

— Опять, дед, двадцать пять! Сказала же: приказ такой — туда надо, а сюда не надо... Не очень-то есть, — поздно спохватилась Павка.

— Да как не надо! Как не очень! — Дед суетно, в ладонь затушил «козью ножку», вскинулся: — Это нам не надо учительку?! В нашу школу не надо учительку?! А Евгения сколько лет, они знают? Да она вот-вот, прости меня господи, не дай-то бог, конечно... Таку жизнь оттопала — мужику не с под силу. Должон человек или не должон роздых иметь, а? И не кисляй физиономию — логикой вас бью! Крыть нечем!

Евгения (так не звали ее промеж собой только что первоклашки) из города, от сына, вернулась загодя, как и всегда перед началом занятий. Павку встретила совсем по-старушечьи, по-деревенски: «Доченька да доченька», как родную. Павка отчего-то сама уж морг-морг — слезу чуть удерживает. Спасибо, говорит, Евгения Михайловна, дорогая, вам за все — за все! Это вы ведь мне и пример дали, и красоту открыли, радость... Так вдруг и нескладно сказалося это у Павки, что Евгения Михайловна не сдержалась, всхлипнула: «Ладно-то, ладно тебе! Нашла че-

го...» Рассказ Павки о дипломе, экзаменах, распределении Евгения Михайловна не прерывала, как июньский одуванчик, головой покачивала. Но как дошла очередь до Намангана, где яблоки зреют ароматные, и путь-дороги дальней, погрузилась, конечно, она — что тут объяснить! — только и выговорила: «Ты уж как только... так сразу. Сразу чтоб. А то ведь совсем уж я стала... Да сама видишь, чего тут... Приезжай». А днем позже по школе новой водила, как наследство показывала, гордилась нажитым. Да и то сказать — не гордись, такие-то годы сдюжив...

— Все верно, дедунь, логично. — Павка со смешком невеселым примиряюще вздохнула. — Вот отработаю — и сразу домой. Здесь буду.

Дед махнул рукой, отвернулся: мол, слышал, чего там. Стал раскуривать сигарку вновь, уже молча, обидчиво. Но долго не утерпел:

— Писала, чтоб, смотри, по правде все: как жизнь свою уделаешь, что за люди там, природа, на Мангане-то...

— Да не «на Мангане», а, понимаешь, в На-ман-га-не! Тыщу раз дед, тебе объясняла! Назло ты, что ли!..

— Замуж не вздумай там уйти. Наша ты дочь, на этой земле тебе и жить. — И, вспомнив что-то свое, далекое, добавил нехотя, будто себе сказал: — Тут и падать мягше... ежели что.

Дед сидел побоку телеги, одну ногу подвернув под зад себе для мягкости, другой болтал, изредка чиркая по ободью, сбивал сапогом налипшие комья грязи. Отвернула дорога от речки, скоро уж.

Борька у самой железнодорожной ветки в момент очнулся от полудремы, прижал уши, с прихрапом взял некрутой, но осклизлый подъем — дождило тут, видно, сильно.

Вот и все.

Екнуло у Павки, комок теплый у горла встал, как увидела она станционный прокоптелый дощатый домишко и мимо, в туман нестаявший, серебряно сьerkнувшие полированным верхом две рельсовые струны. Железом пахло здесь, мазутом, гарью паровозной — дальней дорогой.

Когда Борька остановился у коновязи, дед спрыгнул с телеги по-молдецки, похлопал по мосластому Борькиному крупу кнутом, безразлично махнул к амбарам:

— Иди, вон целовальник твой дожидатца.

Леха сидел на осиновом чурбаке и каблуком сгущал с него сырую с прочернями кору. Кирза его была жирно науталинена, пахуча и блестя еще издали. В руках он покручивал коричневую плюшевую кепку и отчаянно напрягал быкастую шею, чтоб — не дай бог! — первому не заметить прибывших.

— Дедунь, за чемоданом погляди, я сейчас.

— Нужон твой чемодан кому...

Павка уж и лужу-то обходила петуху на шаг, и плешивые головки одуванчиков сшибала, и щепу занозистую в сторону откинула, и кур шугнула, но приструнить себя так и не смогла. И — черт ли дер-

нул! — отогнула поотложе ворот блузковый: пусть полюбуется, что наде-
ла — стыдоба хоть съест!

— Наприжимался! Теперь и знать не знаю, как же...

— А! Павлина! — Леха вскочил растерянно, и впрямь будто на что
засмотрелся, обмахнул кепкой колени. — Извини, Павлина. Задумался.
Здравствуй, конечно.

— Ну здравствуй, коль не шутишь. Что, рад, небось, — уезжаю
как? Рад?

— Да, если хочешь знать!.. Эх, Павка, зря ты так. Я ведь по люб-
ви. — Искорки — ох, едучие! — забежали в Лехиных рассиних глазах,
смешком залоснились гладкобритые щеки. — Ты тоже вчера-то...

— Что «тоже»? Что? Очумел ты, парень, вовсе! Говори-говори, да
не заговаривайся! — И вдруг так хлынуло на Павку жаром трепетным
вчерашним, что губу подкусила она, обезводела сразу...

— Павлина, ладно тебе. Любовь тут, одним словом, не хахинь-
ки. — Не вырвалась ручка девичья, доверчиво утонула в продубленной
Лехиной ладоны. — Хочешь знать — делаю тебе предложение.
Вот. — Вздрогнула, пропотела вмиг узенькая ладошка, добро и властно
держал ее Леха.

Ой, как несладно делалось на душе у Павки, как захолонуло сердечушко от пряной ласки к этим, совсем-то и не рыжим, соломенным
вихрам, таким еще близким вчера и родным...

Неловко скрипнула амбарная дверь. Леха выскреб из-за нее Верку,
младшую обходчикову девчонку.

— Пусти, пусти же. Чо я делала-то? За чо? Ничо я не слышала, ни-
чегошеньки! честное слово! — Пунцовело на глазах густо засиженное
веснушками остренькое, ныркое личико.

— Честное слово — врать готово! Смотри у меня! — Леха погрозил
ей пальцем с какой-то неожиданной для Павки мужицкой беззлостью
и строгостью.

Верка отбежала для опаски и бесстыже высунула прочерниченный
язык.

— Я те косы-то надеру, погоди еще! — У Павки вдруг злорад-
но-мстительно мелькнуло: уж попотеет она у меня при случае, попопы-
хают ее веснушчатые уши у доски, вкачу я ей, шельме, двоек по первое
число — не забуду!

— В общем, так. — Леха загородил собой Павку от жуликоватых
Веркиных глазенок. — Съезди на Мангам свой, надо раз. Смотри только
там... — степенно, не украдкой Леха разгладил ворот Павкиной блузки,
прикрыл вчерашнее. — Ты не думай, дескать, приказываю я. Люблю те-
бя, Павлин, и жалко оттого.

— У меня, может, жалельщиков таких, знаешь...

— Врешь ведь, — не без гордости за себя махнул кепкой Леха. — Ты
слушай сюда. Поезд вон скоро. Значит, так. Обглядишься как что — и на-
зад. Я до весны на кэпэка буду...

— Как, как?! — прыснула Павка.

— Курсы повышения квалификации. «Как, как!» Кверху кáкой! — недовольно обрезал Леха, так что Павка притихло слотнула и эту знакомую, стыдную поговорку. — Вернусь к апрелю. Вот. Чтоб и ты тоже... На май и отгуляем.

— Свадьбу, что ль? — боязно, обреченно спросила Павка.

— Ну.

У насыпи поезда ждали втроем. Леха помахивал дорогим желтокожим Павкиным чемоданом, подначивал деда: мол, сиганем обратно на его «кировце», а Борьку за вожжи сзади привяжем — пусть промнетя коняга. Дед ругался, но не злобно — отмахивался. На душе тяжело было.

— Мать плакать будет. Пиши. — Поцеловал колюче, трехразно, а сам так и не проморгался: выкатилась на изморщиненную щеку блестящая горькая капля.

Леха подсадил Павку на высокую вагонную ступеньку, легонько пальчики тиснул.

— Счастливо тебе. Ждем крепко.

Почти и не стояли вагоны, сразу трянуло сцепкой.

Павка высунулась из тамбура, платок с головы сдернула, взмахнула им, засмеялась ломко, выкрикнула:

И-эх, в Намангане яблоки...

Да осеклась.

Долго еще на одно крыло припадал, словно большая подраненная птица, голубой Павкин платок.

НАСЧЕТ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

— Ну, прочитал? Наизусть, что ль, учишь?.. Ты смотри, не очень там, без психа — анонимка ведь. Сам знаешь, какая им вера должна быть.

Селянкин, закончив читать, укусил за крайку нижней губы и, покачивая головой, не мигая, уставился поверх плешины Егорова. Тот сочувственно вздохнул, зло пристукнул кулаком по столу:

— Где только гады эти вонькие не ютятся! Рядом же, под боком у тебя посиживает, кругом поглядывает, ластится, а вечером на специально к этому случаю приобретенной машинке анонимочку отстукивает. Да еще, сволота, борцом за правду себя почитает! Как же — на недостат-

ки наши указывает! Толокно, а не людишки!.. Да сядь ты, ей-богу! Куда вперился? Увидел чего?

Селянкин нашарил тревожной рукой спинку стула, медленно опустился на сиденье.

— Н-да-а,— потерянно протянул,— заходы, я тебе скажу! Надо же...

— Лажа?— с надеждой спросил Егоров и нетерпеливо добавил:— А?

— Нет. Все правда.— Справившись с собой, твердо ответил Селянкин, не выпуская из рук лист, густо, через один интервал, усеянный машинописью. Егоров заметил, как мелко-мелко дрожит бумага, которую Селянкин держал обеими руками, но осторожно, на отдалении, боясь помять.

— Слушай, Петр! Ты порви ее. Разрешаю. Выбросим давай,— сказал Егоров.— Нечего эту гадость в руках держать. Чести много!

— Но ведь в ней— правда. Не врет человек.

— Я по ней работать не буду, учти. Бумага бесполезная, один черт. Я же ее никуда не пушу, будет пылиться.— И Егоров потянулся к анонимке, но Селянкин не дал.— Да не буду я рвать. Дай-ка еще раз гляну.

Взяв листок, не читая, сложил его вчетверо и сунул в конверт, на котором тем же печатным шрифтом значились адрес парткома и его, Егорова, фамилия. «Из-под бока кто-то. Свои»,— убедил он еще раз сам себя. Но раз тут правда, надо было действительно что-то делать.

— Ничего, стало быть, не приврал? Один к одному, как есть?— спросил он для проверки, но дожидаться ответа не стал.— А, собственно, об чем речь, если даже по существу? Я, например, девке своей и то недавно так впорол—самого целый час колотило. Девке! А то мужик! Как с ним без ремня?..

— Господи, порка ли это? Подумаешь, пару раз вжикнул по заднице. Да если б не за дело!.. Он учительницу, историчку, до слез довел. Она первый год как в школу пришла, ну и эти обалдуи давай над ней изголяться: по современным делам ей вопросы подбрасывать. Она, конечно, не того, не при оружии оказалась—плавает, короче. А мой зазлыдничал: начал подкалывать, каким способом ей лучше плавается, кролем или на спине. Та в рев! Злобность всякую, считаю я, пресекать в корне надо! Вот нерв и не сдержал...

— И не говори! Я так сначала голосом хотел. Но она уперлась бычком, и ни в какую! Не буду, шипит, извиняться—и все! Мать, значит, пришла с работы, по очередям настоялась, осень еще—у нее обострение с желудком. Пластом лежит, просит Ольгу, чтобы ужин сготовила. И эта соплюха встречно: а ты, мол, чего сама? Ну, мать ей и объясняет: так и так—сил нету. Тогда у заразы той вылетело: «Ну и что?» Я прихожу, а она еще и на мать дуется! Тут, конечно, у меня выиграло!..

— Девка все ж таки, жалко...

— А мать ей, чертовке, не жалко?!

— Я б все равно, наверно, не смог, если б дочка была... Неужто так не втолкуешь?

— Какое там! Языка напрочь не понимает. Может, это у них возрастное, но хоть ты тресни — назло делает. И главное, ведь знает кошка, чье мясо съела, а поди ж ты — стоит на своем, как заклинито.

— Н-да... — Селянкин опять свернул на анонимку: — А пишет-то в подробностях. Откуда и углядел...

— Не бери в голову! — сказал Егоров, но все-таки опасливо скосился на конверт, брошенный в дальний угол письменного стола: больно грамотно все изложено, с прокладочками. — Давай так. Поскольку ты не отрицаешь, что имел место этот непедагогический в общем-то факт... — Егоров остановился. — Хотя, думаю, еще вопрос: какое тогда воспитание без наказания? Никто ведь не лишил родителя прав разговаривать с ребенком в соответствующей психологической обстановке на доступном для понимания языке! В пределах, естественно... Кх-м, тем не менее... тем не менее договоримся: раз бумага пришла, мы с тобой все эти вопросы пробеседовали. Учли, как говорится. Сделали выводы. Соответствующие! — Он многозначительно поднял указательный палец. — Советую к соседям приглядеться, из них кто-то, как пить дать!

Селянкина это-то и мучило. Знал ли кто из соседей про дачу? Если только жена или теща не болтанули, но не должны. Теща, старушка та еще, была горазда посудачить, косточки поперебивать, да только не про своих: тут у нее и зять — золото, и дочь бриллиантовая, и внук — надежда. Могла, конечно, Лиза, жена.

Селянкин, мужик без гонора, без жажды первенства, и то частенько досадовал на ее простоватость. Не на глупость — именно простоватость. Теща, та своей дочке эпитеты отпускала не жалеючи, и Селянкин за жену не вступался — разберутся, своя ведь кровь. Но, уже лежа в постели и удивляясь, как быстро выветриваются из сознания кадры очередного теледействия, он добрел к жене, соглашаясь с ее открытым характером, не таящим ни гнева, ни радости, потому как понимал, что легко угадывать человека, живущего рядом, — счастье редкое. Но даже если Лиза кому-то открыла их, а точнее — его и тещину голубую мечту — дачу, то при чем здесь Олег, сына-то на кой ляд сюда приплетать?

Ну да, решили купить дачу. Дачку, щитовую сараюху. С горем пополам, но нашли по божеской цене. К-хм, по божеской. Да есть ли он, бог-то?..

Все чаще и чаще у Селянкина посасывало: ох как хотелось в своей земельке поковыряться, морковочку с грядки вытащить за густой хвост, о яблоневиный ствол обстукать и схрумкать, как когда-то в давнем-предавнем детстве! Еще Селянкин взял себе установку: никакой химии. Назем, прель, компост, зола — все органика. Эту тему он частенько развивал дома, за столом, потрясая тещино воображение обилием потребляемых нынче канцерогенов...

Олег, мечтая об обещанном ему родителями магнитофоне, одинаковым хмыком комментировал и отцовы химико-кулинарные тирады, и бабкины робкие сомнения. Когда же дачные мечтания отца стали грозить обрести реальность, он затосковал, понимая, что фирменная аппаратура плакала, и начал обрабатывать мать, убеждая ее, что обрести частной собственностью безнравственно. Мать, конечно, вынесла это на семейный совет. Поскандалили. Ладно, у парня — возраст: девчонки, шмотки, магнитофоны эти треклятые — все понятно. Обидело Селянкина, что под все под это сын теорию подводит. Дети — привилегированный класс, видите ли! Какую же наглость надо иметь!..

— Лады? — Егоров встал, с намеком заголив на руке часы. — Мне в четвертый цех надо проветриться: начальник с мастерами все мир никак не подпишет. Работяг и тех в свои катаклизмы втянул. А у них скоро отчетно-перевыборное. Пары отрегулировать треба.

Противившись с Егоровым и выйдя из заводоуправления, Селянкин задохнулся от нежного осеннего солнца, уже не играющего резкими слепящими лучами, но источающего тихий свет с дальних своих небес, и от всего земного: матовых стекол цехов, влажного, недавно политого асфальта, калейдоскопически пестрой цветочной клумбы, оранжево-желтых листьев, сметенных в кучи, самого воздуха, в котором светились нити невесть откуда взявшейся паутины, и воробьи взблескивали, резко взмахивая крыльями... Да с какой стати он родителям диктовать будет, куда какой шаг ступить? Почему, злился Селянкин, нельзя таким вот осенним деньком в саду-огороде своим земельку порыхлить, сухую ботву пожечь? Не заработал он разве себе малую радость эту? Диски, мать честная, аппаратура — они, значит, нужны, а дачу — да сарай, господи! — этого не моги? В конце концов у этого же балбеса к труду, к земле привычку надо воспитывать! А то про обязанности родительские горд разд выступать — откуда и взялось? А чтоб табуретку там или полку какую сколотить — на такой подвиг ему полжизни надо раскачиваться...

Селянкин опешил, вспомнив эту горькую знакомую фразу насчет прав и обязанности. Олег ли кого настроил? «Нет, не может того быть!» — чуть не вырвалось у него вслух.

Придя домой, как ни маялся один на один со своей догадкой, Селянкин постановил ни жену, ни тещу в дело это не втягивать. А сына... с Олегом решил поговорить по-мужски, начистоту. Как-то налаживаться надо жить-то...

Но и первый, и второй день отец избегал разговора, старался не быть с ним наедине, смурнел, когда встречались за едой, украдкой подмечал: не выдаст ли тот себя чем? Сын же, в подтверждение тревожной догадки Селянкина, не подавал и намека.

Наконец, порядком помотав себе нервы, Селянкин подступил к нему напрямик и убит был простым и, как казалось, легким для него ответом: сам он это.

— Ты?! На отца?! — Селянкин на крике прошептал этот сердечный вопль и оторопел, не зная, как быть дальше: какой толк укорять в очевиднейшем? Однако спросил-таки насчет машинки. Где достал, там небось и соавтора заимел: не мог он сам насочинить такое, не мог!

Но, увы! Олег вызвался оформлять классную стенгазету уже с умыслом: в затишке отстукать заявление.

— Эх, какую боль ты мне причинил!.. На люди-то позор мой зачем выставил, сына?..

Олег, помаргивая в сторону белесыми ресницами, лениво демонстрировал свою логику:

— На собрании говорили? Нет. Разговор должен был быть приватным. — Селянкин догадывался, что это значит, но сам никогда таких слов не употреблял. — Там что-то искажено? Есть ложное? Нет. Там полная правда, без прикрас. Да, ты педагогически не прав. Но я не мог тебе сказать это, потому что ты бы не внял моим словам...

— Чушь! — перебил Селянкин. — Когда я тебе рот затыкал?

— Ну хорошо, — столь же вяло продолжал Олег. — Не затыкал. Допустим. Но битье — это метод? Не надо распускать руки!

— К-хм, — единственное, что мог в ответ произнести Селянкин.

— По анонимке никто не будет следствие вести. Ведь так? А Егоров, он не такой, чтоб трезвонить. Сам же говорил. Меж вас двоих и остаться должно...

— Ишь ты! Ну-ну, развивай.

— Все. Чего еще?

Дожил, называется! Тоскливо стало Селянкину. Кого вырастил? Эгоизм верхнего предела — вот он, получите. Не надо было, дураку, тещиным увещеваниям внимать — оно бы не так, может, обернулось. Что за дело — один ребенок? Пуп земли, все вокруг него!.. Да чего после драки руками махать, раньше надо было своим умом жизнь строить. Теперь-то она катится — останови попробуй!

Олегу этот недовысказанный разговор, как подмечал Селянкин, что с гуся вода: так же подтрунивал над бабкой и матерью, крутил транзистор, бегал на секцию (занимался боксом), отца не подчеркнуто, но избегал. Неужто не запало ни граммулечки, мимо все? Так порой эти мысли страшили, что Селянкину хотелось рвануться к Олегу, за грудки его притянуть, в глаза требовать: «Что, сына, как в море корабли?!» Но он ломал себя и невидяще сверлил телевизор.

Но однажды Олег подсел к матери и громко, чтоб слышали и на кухне, предложил в субботу отпроситься с уроков и съездить с ними глянуть, что это за хоромины они отыскали для покупки, если такой сыр-бор затеяли. «Показали б — одна семья все ж таки», — по-взрослому буркнул он. Мать радостно зашумела: мол, обязательно, но зачем же отпрашиваться, в глаза лезть, когда можно и в воскресенье.

— Верно я говорю, отец? — крикнула она на кухню Селянкину, занятому газетами.

— Естественно! — живо донеслось оттуда. Про себя же Селянкин чертыхнулся: эта суббота была «черной».

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

— Я сижу, слушаю и умом все понимаю: да, изба досоветская, пяти-стенки. Правда, в архитектуре много эклектики. Убей меня бог, не пойму, какой смысл в этом ложном балкончике на фронтоне? Кроме того, изношенность строения предельная, для жилья и даже музея прошлого быта непригодна. Ветхость, что и говорить.

— Удобства — во дворе, — добавили с сочувствием.

— Естественно. Гигиена, температурный режим не выдерживают критики. — Елена добавила почти шепотом: — Все так, ребята. Решение правильное: сносить.

— И скорее. Стройдвор негде размещать. Потом сами же будете мне шею мылить, — буркнул Сайкин. Стройдвор — это на время, по генплану здесь — парковый интерьер с водоемом эстетического назначения примерным зеркалом 24 квадрата. Неправильный эллипс.

Елена грустно обвела всех взглядом, остановилась на Сайкине, который потупился из-за реченной им правды.

— Я не против, Саюшка. Надо убирать постройку, и мы это сделаем.

— Не вопрос, — опять раздалось из коллектива.

— Харитонычу квартиру выбили — второй этаж, в окно черемуха шепчет. Он, как дите, радуется, говорит, отвыкнуть не может, что без галаш в туалет ходить можно. — Елена светло улыбулась, вспомнив сухонького старичка, умильно растаявшего, когда привели его в новую квартиру, полную сияющей сантехники.

Исполком (председатель — тов. Дроздов М. А.) требовал временно переселения с последующим предоставлением квартиры в МЖК: «Кого снесите, тому и отдайте. Хоть черту!» А 74 года? А трудовое участие? Он ведь куда и годится — на лавочке торчать архитектурным излишеством. В конце концов комплекс-то молодежный, не вписывается дед! С этим Дроздов соглашался, но требовал сдвинуть комплекс ближе к оврагу, а Харитоныча оставить в неприкосновенности. Можно было бы и махнуть рукой, но, во-первых, укрепление оврага — это тысяч двадцать пять как минимум плюс удлинение коммуникаций. Ну и эстетика: перед МЖК, ажурным гигантом, словно начертанным небрежной кистью Корбюзье, — конура-развалюха! Скороч, пришлось помяться. Только после угроз, что в «Комсомолку» напишут, Харитонычу дали однокомнатную по фонду исполкома.

Председатель МЖК армейски подтянутый Федя Гнутов поморщился:

— Ребята, прошу по-деловому: первое, второе, сразу — решение. Мы себя строим, а потом уж МЖК. Время требует действий. Проблема ясна. Ты что предлагаешь? — Он направил на Лену ручку с вделанными в нее электронными часами, нервно мигающими вслед бесцельно, в никуда убегающим секундам.

Время — деньги. И немалые. Это все понимали, но что-то мешало им, тринадцати современным, энергичным, предельно деловым членам правления молодежного жилищного комплекса «Юность» успокоить лирические всплески своего товарища. Они понимали друг друга и в мыслях и в чувствах, хотя совместная работа только-только начиналась. Нынешнее взаимопонимание радовало не меньше, чем будущая жизнь под крышей молодежной коммуны.

И в эти малые мгновения солидарного молчания в отзывчивую девичью душу торкнулась подсказка:

— Предлагаю не замалчивать проблему, а ставить и решать. Рождение нового прекрасно. Смерть старого печальна, но неизбежна. Давайте прозаический снос превратим в событие! Продумаем сценарий, соберем людей, школьников позовем для закладки традиций. Одним словом, родим ритуал! Как?

Гнутов, сидя под лозунгом правления «Нас тринадцать, но решение должно быть одно!», сразу понял, что зерно, брошенное Еленой, упало на готовую почву.

— Кто в сценарную группу? — Рук поднялось семь, а надо было трех. Не больше. Слетевшими с ручки тремя электронными секундами Гнутов отметил Елену (автор), Сайкина (исполнитель), Звездкина (все равно будет лезть с советами).

Выходили из вагончика, где помещалось правление МЖК, и ласково поглядывали на просевший всеми углами черный сруб, укрытый замшелой крышей, при виде которой жалостливо щемило сердце и думалось, помимо связи времен, о холодных осенних ливнях, без особых трудов споро наполняющих всю наличную посуду в доме. Впрочем, и летний дождь был в состоянии сделать это не хуже.

Был май, еще не буйный, разлитый цветами, а робкий, как подросток на первом свидании. На мероприятие привели выпускников-десятиклассников, сказав им еще в школе высокие слова об уходящих поколениях, уважении к прошлому и новых обрядах. Очередной рождался на глазах. Многие, парни-то почти все, бывали в саду Харитоныча несчетное число раз, спугнутые им, рвали штаны на заборе, уже исчезнувшем в печи, поскольку дрова хозяин догадливо продал в феврале за три бутылки вина с нерусскими этикетками, не подозревая, какую историю приобрел, хотя уговор с покупателем был о сладеньком.

Торжественно, элегично, со смутной тревогой принимались неказенные, неожиданные своей человечностью слова сердцами собравших-

ся ребят, строителей, жильцов близлежащих домов. Догадываясь, что должно произойти, девчата с комсомольскими значками, яркой точкой фиксирующей размер груди, шмыгали носом и готовы были зареветь, понимая, что сумасшедший конкурс в пединститут не под силу ни им, ни их родителям. Старушки при малышах, замеревших от краткого и эмоционального вступительного слова Гнутова, олицетворяли связь поколений, и фотограф из молодежной газеты извел на них полкатушки пленки.

Был здесь и Харитоныч, хозяин обреченного строения. Он, понятное дело, тоже оказался задействован в сценарии и потому стоял в головке, рядом с руководством. Он часто-часто моргал, но не от слез, которые были бы уместны, а от усилий понять, что ему делать, когда дадут знак. Он, правда, надеялся, что обойдутся без него, забудут, и миновала бы чаша сия. Елена уговаривала старика простотой задачи: попрощаться с домом, избой, где он жил. «Господи! — металось теперь в голове Харитоныча. — Легко сказать, а поди сделай!»

Сообщили ему о предполагаемом действе вчера, и он всю-то ночь маялся, хотя последние годы спал, ровно сурок: и ночью и несколько раз на дню. Правда, чутко, и оттого кратко. Слова говорить? Да разве он комья эти вытащит из горла, при таком-то народе? В молодых годах и то молчком все, даже Александру свою, покойницу, толком осадить не мог.

Ребята, в кирзе и робах табунившиеся около бульдозера, смотрели на деда с любопытством, жевали прошлогодние былинки, нетерпеливо, в ожидании команды пинали камешки. Их рабочие куртки и каски были призывно расписаны: «Дашь МЖК!», «Не дадите, так возьмем!», «Кто не работает, тот не жилец!» Худого белобрысого парня с ухоженной шкиперской бородой как чахлую осинку обреченно прижимала к себе мощным локтевым суставом розовощекая подруга. Набегающие друг на друга буквы слетались на ее широкой спине в оптимистическую установку: «Нам некогда ждать, нам детей пора рожать!» Десятиклассницам смысл этого призыва во всем объеме и последствиях не был понятен, и они конфузливо отворачивались.

— Дом отжил свое, — пафосно читал текст Федор Гнутов. — Настал час прощания. Строительный мусор, в который он превратится, будет лишен памяти о тепле его очага, детских криках и словах любви, звучавших в его стенах. Но пусть в наших сердцах сохранится память об этом неказистом строении, потому что здесь раньше кипела жизнь. Судьба Ивана Харитоновича Малышева с этим домом связана неразрывно. Он здесь родился, рос, привел сюда жену, здесь родился его дети...

Харитоныч слушал с интересом, радостно вздрагивая совпадениям рассказа с его собственной историей. Он, естественно, знал, что речь о его доме, о нем самом, но понимал и нечто большее — воспитательную задачу, которую должно решать выступление. И ради решения этой

задачи любое красное словцо в строку. Вот провожали его на пенсию. Одиннадцать лет уж. Из горотдела пришел сказать слово Сергей Сергеевич. Как раз дали новое указание о ветеранах и пример заботы о них. Сергей Сергеевич тогда и про красных конников, и про зловещие клещи нэпа, и про тридцать седьмой год, войну, целину — все привязал к скромной биографии Харитоныча, хотя прекрасно знал, что лихую чашу тот не всегда пивал. Не потому что избегал, а так уж поворачивало колесо судьбы. Но правда и то, что с этими событиями он был рядом и без них его жизнь была бы неверно понятой. И сейчас парень этот так ловко и душевно говорит про теплые половицы, по которым шлепали босые пятки ребятишек, что все рты пооткрывали, а бабки слезно плачут.

Ради этого и речи произносят. Можно, конечно, сообщить, что детей у Харитоныча не было и в помине. А смысл? Эмоции несозидательные, призыва никакого, да и самому Харитонычу расстройство. Александра, жена-покойница, отходила когда, боль напоследок выдохнула: «Не засеяли...» Утешение слушать не стала — вмиг помертвела. Может, кому и интересно, как она локти кусала, поняв, что бетонная мощь, уложенная ее руками поперек речного русла, навсегда отлучила ее от материнского поля. Но о другом сейчас надо, о новом!

Как только Гнутов сказал: «Осядет вековая пыль, и наши руки взведут МЖК — прообраз города будущего», Елена, приобняв Харитоныча, повела его к избе. Он обмер, ноги не слушались, палка не могла ткнуть землю. «Ничего не скажу, дочка», — затравленно шепнул он Елене. «Как?!» — опешила она, но виду не подала. «Нем я», — сказал он одними губами. «Чего?» — не поняла она. «Нем, нем я», — уже слышнее выдал он.

Прислонив Харитоныча к стене, Елена звонко выкрикнула:

— Товарищи! Иван Харитонович взволнован, сердце его переполнено чувствами, ему трудно говорить. Он молча исполнит свой долг.

Елена отделила его от стены и повернула лицом к избе. «Что дальше-то?» — слезно спрашивал он себя. Прижался щекой к стене, сухие темные руки легли на прочернелые бревна, рассеченные глубокими морщинами.

Дом был теплый, родной.

Дом простил его.

Из кабины бульдозера высунулся Сайкин, кивком спросил у Елены, не пора ли. Та дала знак одними ресницами. Трактор дернулся и, чуть присев, ринулся к избе. Сайкин заглушил мотор, спрыгнул на землю и, впечатывая шаг, направился к Харитонычу. Старик сжался, догадываясь, что все, надо уходить.

— Благослови, отец! — Сайкин протянул ему пятерню. И рукопожатие молодого и старого за подписью «Рождение традиций» было опубликовано в молодежной газете.

И вот уже нож бульдозера примерился к нижним венцам, как из толпы вырвался человек, обогнал машину и вжался в стену, раскинув руки.

В звонкой тишине слышалось его хриплое дыхание.

— Такую красоту губить! Это же!..— и он на уровне своей головы постукал костяшками пальцев по срубам.

Ему не находили, что ответить.

Отдышавшись, он взял лестницу, прислоненную к завалинке, вскинул ее к фронтонам. Ловко взобравшись, он неведь откуда взявшимся гвоздодером аккуратно лишил избу эклектики, и фальшивый балкончик опустился на землю. Столь же стремительно он изъял резные наличники, впрочем, один, подгнивший, выбросил.

— Ехай,— махнул он, наконец, Сайкину, уволакивая доски в стору.

Трактор опять взревел и уже не останавливался, пока не вывел уровень под ноль.

Самого печального Харитоныч не видел. Пробравшись сквозь людей, он уходил все дальше и дальше. Стопа его перестала ощущать землю, чему он сначала удивился, но не стал смотреть под ноги. Он сжал пальцы, чтобы понять, держит ли палку, но пальцы не слушались, а привычной тяжести в руке не было. И хотя он не падал и не спотыкался, посох — вспомнил он — забыл у дома, когда обнимал шершавые бревна. Эх, досада! Легкий, вересковый посох было жаль, но жалость эта опровергалась реальностью: вот он идет — ровно, смело, хотя и с трудом, однако не большим, чем то было с палкой, противно шаркающей по дороге. Шел он не быстро, но ветерок, сначала совсем слабый, постепенно набирал плотность, стал посвистывать. Глаза слезились, их хотелось закрыть, но надо было различать дорогу, которая в прищуре сузилась, вырвалась из вещных предметов и в предоблачных размывах вдруг расстелилась светлым ровным проселком, уходящим за видимый всем горизонт.

Тем временем рыжая пыль, взметнувшаяся над местом, где была изба, осела. В развале подгнивших бревен нашли звонкое, не тронутое тленом. И Звездкин бензопилой, взятой по знакомству, стал кроить это бревно на сувенирные лепешки. Первыми их похватывали школьники и малые дети, затем старухи, недоверчиво рассматривая колкие, терпко пахнущие розоватые срезы, — куда их? Рабочие тоже взяли несколько штук. Одну прибили над входом в вагончик, вроде, как на счастье. Пару оставили для подставок под чайник, остальные бросили в кучу строительного мусора, припасенного для печки. Елена для Харитоныча выбрала нетолстый, аккуратный кружок и пошла искать старика.

СНЕЖНЫЙ КОМ СЧАСТЬЯ

Проснуться и не открывать глаза...

Парит свежая пышная грядка, отзывчивая земля уже перестала быть мертвым торфяником — черна, ожила красноватыми червями, которых девчонки, перебарывая брезгливость, щепочками нежно прикапывают рядом с огуречными семенами. Белая трыпица изгваздана в земле, подсохла краями, а пухленьких проклюнувшихся семян в ней еще полным-полно. Маша делает для них гнездышки — указательным пальчиком тыкает в землю, стараясь, чтобы не отпечтался поджатый кулачок. Ксения опускает в лунку семечко, укрывает его. Обе раскраснелись, выпачкали мордашки, поправляя косынки.

Березы полощут в небесной голубизне мелколистые весенние кроны. Когда мы появились на участке, в пяти метрах не было видно друг друга, а небо сплошь укрыто густыми шапками бузины, берез, ольхи. До дрожи в руках, во всем теле, до проклятий мы с женой упирались в тонкоствольное тело березы и, лишив ее цепких краснокожих корней, клонили долу. Покорно рушилась лесина, вспарывая лиственный ковер и обнажая рваную полосу летнего неба. Иссякали силы держать топор, кровь гулко билась в голове, блестящей пеленой застилало взор, но радостью охватывало сердце при виде обнажающейся земли, да и не земли вовсе — бросового торфяника. Не верилось, что когда-то здесь вырастет дом. Под крышей! С печкой! Из окон выглянут дочери. И теща. Пусть.

Пила почти беззвучно шоркает по бревну, не желая вгрызаться в рыхлую древесину перележалых берез. Руки, руки-то берегите! Катерина с матерью, закусив губы, мокрые, злые, мучают себя, дерево и пилу.

Как-то, еще в один из первых приездов на участок, покрытый сорным мелколесьем, с нами был мой друг, мастер спорта по легкой атлетике. Ему тогда уже перевалило за тридцать, но он еще выступал, почти всегда пробегал стометровку за десять с половиной секунд. Измотанные, мы сидели на поваленном стволе, а он лихо, в три замаха обрубал лопатой березовые корни, играючи выворачивал деревцо из цепкой земли. «Девки! — Я гладил старшую по голове. — Видите, как бы мы зажили, если нам хотя бы одного зятя!»

Ну, а я делаю новую грядку, вожу в тачке тяжелый, мокрый песок, копаю целину, выбираю обрубки корней, нестивившие светло-рыжие куски торфа, с наслаждением мну попадающиеся в песке глиняные комья...

— Не ври: ты проснулся.

Ну, хорошо, открою один глаз. Довольна?

— Это не я тебя разбудила, а твоя теща! — Выразительный взгляд на стену.

Открыв второй глаз, начинаю слышать легкое, но плотное похрапывание, напоминающее всхлипы двуручной пилы по перепревшему березовому хлысту. Ага, вон это откуда.

Теще восьмой десяток со всеми вытекающими. У меня, впрочем, с нею мир, более того — миру ее с женою и детьми. Что поделаешь, женский коллектив. В субботу мы с женой спим до естественного пробуждения, если дети не скандалят с бабушкой. Проводив всех троих в школу, теща ложится досыпать и частенько дает храпака. Дореволюционный, крестьянский замес. Дай бог ей здоровья!

— Убери руки, вставай!

Эх, бабье лето, бабье лето, бабье лето! (Вроде песня такая есть?) Только боязнь впасть в банальность удерживает от эмоций по поводу этого грустно-прекрасного женского возраста.

Жена начинает поговаривать, что обрежет волосы. Темно-соломенную по пояс косу! Хочет отодвинуть время. Говорю «как хочешь», хотя знаю, что она меня испытывает. Потом, правда, обязательно вверну, что резать не надо, но про себя думаю: может, черт с ней, с косой, пусть человек почувствует обновление, вырвется из неумолимого тока лет. Однако жалко, вдруг да не отрастет? Все-таки коса — красны девицы краса...

— Убери руки. Большой, да? Если думаешь, что тебе все позволено... Дверь...

Тещин организм извещал о своем здоровье, даже когда мы завтракали. Манную кашу никто не ест, я обожаю. Прямо из кастрюли. Жена заспела недовольно, но недавнее воспоминание сдержало ее.

— Работать будешь? — приступила она к составлению дневной программы.

Я пожимаю плечами и получаю наряд:

— Твоя теща запилила — нет картошки. Магазинную есть нельзя, — сразу предупреждаю я, хотя прекрасно это знаю и не пытаюсь сопротивляться. — Чернота и запах. По дороге зайди за хлебом и молоком. Будет творог — возьми. На ужин вареников налепим. Хорошо, — реагирует она на мою мимику, — можем и без тебя обойтись, тесто только раскатай.

Хорошенькое дельце! Они в восемь рук (без тещи) лепят, а я, как автомат, раскатывай тесто. Кстати, почему оно такое тугое? Мать моя, наоборот, делает очень мягкое, легкое. Правда, липучее, но... Про мать не будем. В конце концов полчаса не время.

Мою посуду. Верите: люблю! Даже после гостей, когда много. Есть время подумать. И хорошо как-то думается — о теплом, домашнем, соиздательном.

— Ой, снег! — радостно вздохнула жена.

Не первый. Уже был. Два дня пролежит — стает. Сумрачно, около нуля. И этот не долгов. А ведь декабрь.

— Минут один. — Жена посмотрела на градусник за окном. — Умоляю: если к обеду нападает, почисть ковры. Сколько можно ждать? Думаешь, тебе что-то ответят? Дождись!

Я написал письмо. На завод, в Подольск. Изозлился и написал. Ничего не зря. Не ответят — пойду дальше. Надо бороться! Провались этот пылесос — за державу обидно. Купили «Буран», восемь месяцев прошло — лопнул шланг. Приученный к бесправию потребителя, обреченно иду в магазин за новым. Разбежался! «Бывают, крайне редко, заходите». В гарантийной мастерской: «На шланг гарантия не распространяется». Позвольте, как же так: на весь пылесос гарантия есть, а на часть пылесоса — нет? Абсурд! Глупость несусветная! Утвержденная Знаком качества!

Короче говоря, немного владея публицистическим слогом, изложил я товарищам с пылесосного завода, что я о них думаю, и намекнул, какой международный резонанс вызвала бы их продукция, будучи приобретенной гражданином чужого подданства (в нынешней-то ситуации!). И вот жду ответа, как соловей лета, а ковры две недели непылесосены. Придется идти на улицу и шоркать венником.

— Записать или запомнишь? Картошка, творог, хлеб, молоко... Зелень, — добавила после краткой внутренней борьбы.

Согласно киваю, собираюсь: пакеты, сетка, кошелек... Стоп. Демонстрация содержимого: сорок семь копеек.

— У меня семь рублей, — сообщается сухо, с обидой. — Зарплата во вторник. Слава богу, за музыкальную школу заплатили!

Интересное дело: я-то чем виноват? Насчет вторника сам знаю, но на рынок сегодня идти. Пожалуйста, могу не ходить.

В ответ чуть не слезы. Молча пережидаю волну. Прямо-таки девятый вал.

Наконец, семь рублей взяты, зелень из списка вычеркнута. Обойдется.

Снег на нехоженных газонах девственно бел, хотя и неглубок. Впрочем, ковры почистить хватит. Хрипло тявкнула старушка болонка, с усилием перевалила плешивый грязно-розовый бочонок своего тела через бордюрный камень и начала гваздать снежную целину. В пяти местах обрызгала ржавчиной, пару раз опрокинулась на спину, оставив мне клочок для прикроватного коврика. А палас из прихожей, а два детских ковра? Ну, собака, ну тварь! Как бы сейчас двинул!..

Почувяв мой настрой, животина виновато спрыгнула с газона, обнюхала брючины, чихнула и села на задние лапы, демонстрируя рабскую психологию. Выучили. Пшла отсюда!

— Не бойтесь, она не кусачая! — задребезжала нафталиновая бабулька удивительной сохраннысти.

Ладно, живите. Я вас простил. Ковры в конце концов повешу на турник и выбью. Так даже лучше.

В этом году летом, ближе к осени, судорожно, в считанные дни, возвели где только можно ларьки, базарчики — вырос второй город. Эта фанерная Москва несколько раз оживала, быстро распродавала завезенные чадящими трейлерами фрукты-овощи и вновь глохла на долгие дни. Наконец гастрономические надежды жителей столицы стал заметать колкий снежок, и деревянные строения среди бетонных громадин печально понурились, сознавая краткость отведенной им жизни.

Пропахший черемшой и маринованным чесноком рынок жил-гудел, не ведая о характере перестройки. Цены кусались все злее. Рыночная публика банально расслабилась. Покупатели встречались и провожались по одежке, что точно соответствовало их имуществу положению.

— Нэ хочешь — нэ бери, у нас нэт насылия. Дай приличный человек подойти. Нэ видишь, по-русски нэ говорит, купит хочет?

Дипломатический корпус высчитывался безошибочно и уважался, как это только возможно в стране победившего интернационализма, даже еще сверх. Иностранец был разборчив в продукте, но брал обильно, словно многодетный. Рязанские тетки с чудо-капустой завистливо поглядывали, как исчезает жюжный фрукт в торбах, исписанных несоветскими словами, а меж собой шептались: какой неумный народ, никаких понятий о квашеной — с клюквой! — капусте. Но особо не горевали: отечественный интеллигент ее обожал.

Ряды с картошкой обособили в небольшом барачном строении. Земляная пыль густо курилась над толпой и позывала на чих. Цена стабильна: полтинник. Вид — разный. Убивает, что не специалист. Объясните: тамбовскую или липецкую, рязанскую или горьковскую — какую брать? По размеру? По цвету? По хозяину? Видел, что некоторые нюхают. На предмет химии. Из каких-то детских глубин запало, что «синеглазка» — гарантия.

— Бери-бери, голубь. Жена за такую картоплю обцелует.

Очередь подпирает. Беру, но пытаюсь торговаться. В ответ — вскинутая белесая бровка, хотя пара картошин царским жестом препровождена в мою сетку. «От нашего стола — вашему столу!»

Одна из двух трешек пхнута пыльным мужичонкой в карман ватных штанов. А там уже порядком, не шелестят — страмбованы. И дай-то бог, с умом бы тратил.

С некоторых пор ловлю себя на рассуждениях маниловского толка: вот если бы да кабы, тогда бы... Короче, денег нет, а они нужны. Стыдно сказать: при таком положении до зарплаты не дотягивать. Кто поверит?.. Вы? Ну, спасибо.

Гневные телекомментаторы умело клеймят закордонный быт, вызывая соответствующие чувства у нашей общественности и рядовых граждан. Правда, на тезисе, как плохо жить в долг, в последнее время спо-

тыкаешься. Земля, дом, машина, еще что-то — все в рассрочку, под проценты. Видимо, и в самом деле не сладко, поскольку из стана противника тоже есть подтверждающие доказательства. Но ведь и противоположность не греет: копи, копи, чтобы к пенсии купить садовый домик (подчеркиваю: не дачу!) и машину. Глаза слезятся, «красный-желтый-зеленый» не различают, руки лопату не держат, по гвоздю молотком не попадешь. Устраивает?.. Нет? Меня тоже.

Социалистическое общество по заложенным в нем возможностям страшно прогрессивное. Надеюсь, всем это очевидно. Однако преимуществ своей системы мы стараемся не показывать даже самим себе, хотя теоретически можем кому угодно их разъяснить. Дело за малым. Как всегда, за практикой, которая почему-то очень увертлива от всего передового. Будто все чего-то боится.

Предложение?.. Есть кое-что, но не здесь и не сейчас. Важно, что на нынешний день в кошельке четыре сорок семь, а зарплата во вторник. Еще хлеб, молоко, творог, если будет... Правду сказать, не четыре, а три сорок семь: на рубль купил два семечка лагнарики, по-русски — вьетнамский кабачок. В прошлом году брал — ни черта не взошло. Три месяца в земле лежали — даже не сгнили. Капризный овощ.

Рубль — штука. Каково? Ты ей про совесть, а она точно сговорилась со своим загорелым коллегой: «Не хочешь — не бери». Все-таки подействовала прошлогодняя история — дала второе семечко: «дублер». Дублер изогнутый какой-то, темный, но тугой. Может, как раз ему-то и повет. То есть мне с ним.

Садово-огородное дело — тонкое, рискованное, живущее законами, которые мне пока недосуг заучить, несмотря на то, что третий год выпиываю прекрасный журнал «Приусадебное хозяйство». И читаю, между прочим, от корки до корки, с интересом, точнее не назвать — неподдельным. Утром беру из почтового ящика и уже по дороге на работу пробегаю пару статей. К чему душа потянется: лактация у коров, форель в колдце, земляная груша, оживший торфяник, огурцы круглый год, сибирский виноград, забота о компосте. А народ что пишет! Как излагает! Поэзия! Иначе говоря, вполне приличная проза. Специально замечал: что умом написано — грамотно, доходчиво, но сухо. Это спецы, их язык. Энтузиасты-садоводы — те от сердца, потому и слог, и образ, и жизнь людскую вспомнят, хотя речь про то, как пасынки у помидоров прищипливают.

А творческая мысль какая неумная! Куда там японцам, передоверившимся электронике! Вот, например, одной женщине потребовалось корове температуру измерить. Есть для этого дела у животного одно неприличное место. Сами понимаете, неэстетично. Хозяйка накинула на корову попону и под нее градусник. Казалось бы, невелика идея. Показания — 39, то есть нормально. А мысль скакнула в сторону и говорит как бы между прочим: «Женщина, ведь при этих градусах цыплятки вылупляются!» Такой намек сельский житель с лета хватает, берет старое оде-

яло, нашивает на него тьму кармашков, по яйцу туда и — на корову. Ждет. Рогатый скот — не лошадь, смиренный, спину, как хрюша, не чешет. Короче, приходит срок, и вылупляется орава желтых шариков, штук пять только хозяйка не досчиталась. Потрясающе!

Эдак представить, что в народе нашем таится, если даже женщинам такие мысли приходят. Читала бы американская администрация «Приусадебное хозяйство», поостереглась бы своей оборонной инициативой грозиться. На кого замахиваются?! Впрочем, что с них взять — все пляшут под дудку военно-промышленного комплекса. У них там замкнутый круг.

Итак, три сорок семь минус двадцать пять (батон белого), минус десять (половина «бородинского»). Может, кекс взять — как-никак суббота? Рубль десять. За восемьдесят, без изюма, есть?.. На нет и суда нет. Сами испечем.

Молокопродукты рядом, в скромном изобилии. Хотя бы ценники снимали, а то внутри зазря надежда ёкает. Три литра молока, триста сливочного масла... Какое-то оно?..

— Дания. Сказки Андерсена читали?

Ясно. Творог после обеда привезут? Ясно. Итого?.. А творог в пачках или развесной? Жирный?.. Так, для интереса. Кто его выбирает? Что выбросят — хватать по сумкам, дома разберемся. Сразу после обеда или к закрытию?.. Ясно.

Кошелек потяжелел — медяками сдали. Как раз на творог.

Руки в тесте, словно крылья, вскинуты (я ж говорил — сами испечем!), теща радостно кудахчет:

— Ну, зятек, тебе привалило! Сначала почтальонша перевод от радио принесла. Восемнадцать рублей двадцать копеек. Двадцатник ей за доставку оставили. Потом опять звонок. Открываю — дядька прилично одетый с чемодану шланг вынает. Извините, говорит, за неудобства, это смежники нам который год свинью сознательно ложат. Примите, мол, новый, этот крепкий. Думала рупь ему сунуть — не берет. Вот счастье-то! И не приснится!

Конечно, именно такого течения событий я предугадать не мог, но вера в положительный исход жила во мне всегда. Чтоб не сглазить, я молчал. Жене казалось это равнодушием. Бедная, я ей сочувствую: так жестоко обмануться!

Вечером, когда стих пылесосный рев, умытые под душем изумрудно искрились цветы, сияли полы и в самом дальнем закоулке квартиры стоял сытный дух печеного теста, грянул пир: вареники с творогом (достали-таки!), пироги с капустой и солеными грибами (собственными!), с яйцом и луком (пошел с творогом — тут в овощном лук выбросили!). Аппетитно румянилось с десяток плюшек, обсыпанных сахарным песком (начинки не хватило). Чай на мяте! С молоком!..

Мыл посуду, и душа подпевала Тото Кутуньо.

Жена страдала над толстенным романом, взятым в редакции. Я заглянул в рукопись. Изложенные суровым языком подстрочника социальные катаклизмы коллективизации были еще кровавей и хрестоматийней.

— Маше «Спокойной ночи!» сказал?

Худющую тепло-нежную Машу чмокнул в кнопку.

— Что остальные?

Катерина делает стенографию, Ксения читает «Собор Парижской Богоматери». Теща? Закрылась с Машей, спит.

— Убери руки. Видишь, у меня работа!

Средневожская деревня задыхалась. Чувствовалось, от засухи и кулачья, которое спелось с белыми недобитками княжеских фамилий.

— Убери руки! Думаешь, гонорар получил и тебе все позволено?..

Дверь...

Вот эта прядка нежно-желтая, здесь — одуванчиковая. Тут — темные, цвета прелой соломы. Подожди, а этот?.. Седой! Боже, все-таки время властно и над тобой...

— Ты его ел, этот кабачок? Небось, гадость ужасная. Лучше бы венник купил, старый совсем изгрызли. Семнадцать лет! И я все терплю! Ты хоть догадываешься, почему?

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Успеть!	3
«Васюта, встань! Васюта...»	15
«Фима, не шевелись!»	22
«В Намангане яблоки...»	27
Насчет прав и обязанностей	31
Рождение традиций	36
Снежный ком счастья	41

Николай Петрович МАШОВЕЦ

СНЕЖНЫЙ КОМ СЧАСТЬЯ

Рассказы

Редактор М. М. Ж и г а л о в а

Технический редактор Т. Е. А в д е е в а

Сдано в набор 29.06.87. Подписано к печати 18.08.87 А 00418. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,20. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80000 экз. Изд. № 2390. Заказ № 914.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**● АБОНЕМЕНТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ —
ЭТО УДОБНО И ВЫГОДНО!**

Предприятия ремонта бытовой техники предлагают Вам заключить договор на абонементное обслуживание домашних холодильников.

**АБОНЕМЕНТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ —**

не менее 2 раз в год без вызова заказчика проводятся профилактические осмотры на дому. В случае неисправности холодильник ремонтируют вне очереди. Любую деталь, вышедшую из строя, заменят бесплатно. Бесплатны транспортные услуги. Договор на абонементное обслуживание заключается на год.

Росбытреклама